

Н Н  
Ф Ф

Н







Выпуск 10

---

**АЛЬМАНАХ  
НАУЧНОЙ  
ФАНТАСТИКИ**



Издательство  
«Знание»  
Москва 1971

**Альманах научной фантастики. Выпуск 10.**

**А57** М., «Знание», 1971.  
168 с.

В десятый выпуск альманаха вошли: повесть С. Гансовского «Винсент Ван Гог», в которой автор, используя фантастический сюжет, построенный на путешествиях в прошлое с помощью «машинки времени», рассказывает о жизни и творчестве одного из крупнейших художников второй половины XIX в. Ван Гога; рассказ И. Варшавского «Повесть без героя», посвященный проблеме программирования наследственности человека, а также другие рассказы.

**7—3—2**

**Т. п. 1970 — № 10**

**Р2**

## союз фантастики и науки

В настоящем сборнике представлены разные «профили» фантастики. Помимо собственно научно-фантастических произведений, здесь присутствует также «фантастоведение»: книга завершается статьей Е. Брандиса об одном мало известном, но заслуживающем внимания эпизоде в истории научной фантастики.

Открывается сборник повестью С. Гансовского «Винсент Ван Гог». В ней два основных плана. Один, так сказать, научно-фантастический — «методики» путешествий во времени. Другой условно можно было бы назвать историко-художественным и историко-социальным. Перед читателем проходит жизнь художника Ван Гога, признанного великим лишь после смерти. Это повествование о трагедии таланта в условиях буржуазной Голландии и Франции второй половины прошлого столетия.

Тема путешествий во времени в литературе не новая. Открытая М. Твенем и Г. Уэллсом, она подвергалась и подвергается усиленной эксплуатации фантастами всего мира. Казалось бы, трудно добавить какую-нибудь новую линию в ее разработку. И все-таки С. Гансовскому, на наш взгляд, это удалось. Автор проявляет незаурядную выдумку в описании трудностей и парадоксов, которые возникли бы, если бы такие путешествия и попытки вмешательства в прошлое вдруг стали возможными. Несколько раз герой повести «спускался» в прошлое, и каждый раз это приводило к результатам совершенно неожиданным. Попытки «обмануть» историю, исключить из нее «неудобные» звенья желанного успеха не имели. Но путешествия в прошлое не прошли для героя бесследно. Они обогатили его нравственно. На наших глазах в нем произошла важная перемена. Если сначала он предстал перед нами как этакая смесь «рубахи парня» с плутом в стиле О. Генри, то к концу повести он уже человек, понимающий ценность таланта, мужества и труда. Эта перемена вызвана благотворным влиянием подлинно гуманистического искусства Ван Гога.

Так обе темы, фантастическая и историко-художественная, сливаются в одну — в тему высокого нравственного назначения искусства.

Парадоксы путешествия во времени, а точнее — вся фантастическая линия сюжета повести сталкивает нас с одной интересной историко-философской проблемой.

Как известно, в исторической литературе не принято оперировать составительным наклонением или, как говорят в логике, контрфактическими предложениями типа: «Если бы произошло (не произошло) событие *А*, то произошло (не произошло) событие *Б*». Такой подход к анализу исторических событий историк сочтет бесполезным. Однако не вносит ли наша эпоха — эпоха научно-технической революции, эпоха кибернетики и «больших систем» — нечто новое в эту позицию? Нам кажется, вносит.

Задачи современного социального развития действительно требуют прогнозирования будущего в разных аспектах — научном, техническом, социальном. Во многих странах прогнозированию ныне уделяется большое внимание. Важное, можно сказать, государственное значение придается ему и в нашей стране. А всякий прогноз предполагает анализ альтернативных вариантов будущего. Но ведь будущее со временем становится прошлым. И поскольку прогнозы и альтернативные варианты составляются для того, чтобы мы своей деятельностью в настоящем могли наилучшим образом влиять на будущее, постольку потомки, видимо, обязательно станут обсуждать вопрос о том, насколько верны решения, которые мы сегодня принимаем на основе прогнозов. Они, следовательно, будут рассматривать альтернативные варианты прошлого.

Эта ситуация не надумана. Возьмем хотя бы проблему взаимоотношения человека и природы. Цивилизация теперь в состоянии осуществлять грандиозные проекты, меняющие лицо Земли. Это вселяет в нас оптимизм, но он оправдан только тогда, когда человек действует, говоря словами Энгельса, со знанием дела. Так бывает не всегда, в частности, потому что нередко приходится принимать решения в условиях недостатка необходимой информации.

Но как анализировать альтернативные варианты? Для С. Гансовского здесь нет проблемы, поскольку он располагает «машинной временем». Она позволяет ему «изменять» ход истории и сразу же видеть, к чему это приводит. Таким образом автор добивается наглядной убедительности в решении очень важной нравственной темы об ответственности людей перед грядущими поколениями, перед настоящим и будущим. А как в науке? Очевидно, здесь помощь придет со стороны кибернетики с ее методом математического моделирования процессов, происходящих в сложных и сверхсложных системах. Известно, например, что кибернетическое моделирование органической эволюции пролило уже определенный свет на ряд явлений, которые раньше были не очень понятны. Можно моделировать и социальное развитие. Прежде всего это относится к экономическим процессам.

Такие работы уже ведутся. Подчеркнем, что в кибернетическом моде-

лировании утрачивает жесткий характер привычное противопоставление «прошлое — настоящее — будущее». Для теории «больших систем» — это лишь моменты единого процесса развития системы, выраженного в точных терминах.

Конечно, такого рода «модели» очень грубы. Даже при самой тщательной и корректной проработке в них по необходимости не будет учтена масса фактов. И чем дальше от нас прошлое, тем больше будет масса неучтенных фактов. Вопросы вроде: «Что было бы, если бы Карфаген не был разрушен римлянами?» — по-видимому, всегда будут малопродуктивными для анализа. Но в применении к периодам, оставившим после себя достаточное количество документальных и прочих свидетельств, анализ альтернативных вариантов средствами кибернетики, возможно, займет достойное место в ряду серьезных социологических и исторических исследований. Разумеется, не для того, чтобы исправлять прошлое, а для того, чтобы наиболее разумным путем идти в будущее.

При этом возникает задача создания в рамках исследования «больших систем» чего-то вроде «теории альтернативных вариантов». Фантасты и тут до некоторой степени идут впереди. Так, американский фантаст Р. Бредбери в рассказе «И грянул гром» («Фантастика Рея Бредбери», М., 1964 г.) выдвигает принцип, согласно которому на ход истории может оказать влияние даже случайная гибель того или иного растения 60 миллионов лет назад. Более того, он полагает, что влияние такого рода «мелких событий» с течением времени неизмеримо возрастает. С. Гансовский в своей повести формулирует фактически другой принцип: чем дальше от нас эпоха, в которую вмешался «путешественник во времени», тем меньше последствий для современности.

Привлечение кибернетики для исторических исследований погрешует, видимо, разработки своего рода типологии событий, в первую очередь с точки зрения их «веса» в историческом процессе. Материалистическое понимание истории, исходящее из определяющего характера производства в системе общественных отношений, указывает принципиальные основы для такой типологии. Так будет, видимо, проложен путь к моделированию альтернативных вариантов эволюции «больших систем», где, наверно, найдут выражение и кибернетические аналоги проблем о роли случая и о роли личности в истории.

Известны попытки построения прогнозов научных открытий. А. Кларк в своей книге «Черты будущего» (М., 1966) приводит таблицу предполагаемых открытий, доведенную до 2100 года. В числе будущих открытий в ней есть и такие, которые давно уже «открыты» научной фантастикой. Но «машинны времени» нет. И это не случайно. Наука — по крайней мере наука сегодняшнего дня — отвергает ее возможность, хотя и обсуждает некоторые более «тонкие» варианты «обращения времени». Но, с другой стороны, «машину времени», если не в прямом, так в переносном смысле,

человек «изобрел» давно. Это память отдельного человека и память поколений. Писаная история — это «машина времени», обращенная в прошлое. «Машина времени» в аналогичном смысле, только обращенная в будущее, ныне возникла в облике прогнозирования.

Теперь несколько замечаний о других произведениях сборника.

Автора «Повести без героя», так же как и автора «Винсента Ван Гога», вряд ли нужно особо представлять: фантастика Ильи Варшавского давно получила признание широкой читательской аудитории. И «Повесть без героя» читатели наверняка прочтут с интересом.

Фабула «Повести без героя» настолько близка к некоторым современным проблемам науки, что тут трудно сказать, чего в ней больше — фантастики или реального научного содержания. Замысел «Повести» — ввести читателя в русло таких проблем, как природа одаренности, моральная ответственность ученых, разрабатывающих вопросы программирования наследственности человека, «вклад» среды в формирование индивида. Решение этих проблем, предлагаемое Варшавским, гипотетично, ибо сама наука еще не дает на них однозначных ответов.

Рассказ В. Михановского «Страна Инфория», на первый взгляд, просто фантастичен без какой-либо «положительной программы». В самом деле, вряд ли можно всерьез принимать страну, где люди питаются... информацией, выращиваемой в поле подобно картофелю. И все же в рассказе есть нечто привлекающее внимание. Прежде всего ирония, направленная против так называемого «здорового смысла», который мешает людям выходить за пределы обыденного опыта. И потом — не так уж бессмысленна ситуация, изображенная в рассказе.

Дело в том, что с развитием кибернетики в научный обиход вошло новое понятие — информация. Здесь у нас нет возможности для полного и детального объяснения этого понятия. Скажем лишь, что оно шире просто «сообщений» или «сведений». «Совершенно не обязательно, — пишет академик В. М. Глушков, — непременно связывать с понятием информации требование ее осмысленности, как это имеет место при обычном, житейском понимании этого термина. Информацию несут в себе не только испещренные буквами листы книги или человеческая речь, но и солнечный свет, складки горного хребта, шум водопада, шелест листвы и т. д.»

Иными словами, под информацией в кибернетике подразумевается некоторое свойство, присущее любым материальным объектам. Стало быть, ситуация, придуманная В. Михановским, не лишена смысла.

В отличие от первых трех авторов Ю. Тулицын, чей рассказ «Шутники» представлен в этом сборнике, не принадлежит к числу профессиональных литераторов, и его имя еще мало известно любителям фантастики.

Кажется, что больше всего и фантастов и читателей интересует проблема существования инопланетных цивилизаций. Литература по этой теме

обильны, благодаря фантастам в каких только удивительных мирах мы не побывали! Поскольку наука не располагает пока сведениями по этой проблеме — для фантастов тут полное раздолье. Правда, Ю. Тупицын не воспользовался этим обстоятельством и взял для своего рассказа сюжет «не первой свежести». Снова звездолетчики, снова неведомая планета с цивилизацией, напоминающей земную настолько, что героям рассказа не составило труда вступить в контакт с ее представителями. И тем не менее рассказ вызывает несомненный интерес. Начинается он интригующе, и эта интрига заставляет нас дочитать его до конца. Любопытна, наконец, и сама форма жизни, с которой столкнулись герои рассказа на неведомой планете. С точки зрения земных представлений и понятий она парадоксальна. Оказывается, то, что на Земле составляет нечто единое, органически целостное, здесь, на Илле, разделено во времени. Иллины живут в двух стадиях, между которыми лежит такая же «пропасть», как и между гусеницей и бабочкой. Такой «поворот» темы давал автору возможность на постановку ряда серьезных философских вопросов, но, к сожалению, в рассказе этого почти нет.

Новелла американского писателя Р. Янга «В сентябре тридцать дней» относится к типу рассказов-предупреждений, столь распространенному среди лучших представителей фантастики на Западе. Произведения такого рода играют роль своеобразных социологических исследований, основанных на так называемых «умственных экспериментах». Цель их авторов — предупредить своих сограждан о пагубных чертах общества, в котором они живут. Это достигается тем, что средствами фантастики в будущее переносятся ситуации, в которых эти отрицательные черты развиваются до предела.

С болью изображает Янг уклад образования и опустошение интеллектуального и эмоционального содержания личности в Америке «кибернетического века». Гипертрофируя реальную тенденцию, наметившуюся ныне в области обучения во всех развитых странах — применение для этого технических средств и «кибернетизация педагогики», — он вводит нас в страшный мир, в котором даже робот, запрограммированный по обычным человеческим нормам и представлениям о моральных и эстетических ценностях, является уже анахронизмом; в мир, в котором захватившие монопольное положение «телевизионные учителя» (о них в новелле говорится, что они «лишь немногим лучше полубразованного члена конгресса, чьей главной заботой является стремление помочь своей компании выгодно сбыть очередную партию кукурузных хлопьев») служат массовому производству невежд.

По этому поводу следует заметить, что работы, ведущиеся сейчас во всем мире в области программированного обучения, сами по себе относятся к перспективным направлениям научных исследований, поскольку они предполагают модернизацию и усовершенствование методов обучения,

усовершенствование системы образования и приведение ее в соответствие с потребностями научно-технического прогресса. Программированное обучение, технические средства, привлеченные для той же цели, «кибернетическая педагогика» (исследования в ней носят пока поисковый характер) войдут составными элементами в общую систему социального воспитания, направленную на формирование всесторонне развитой личности.

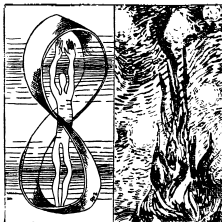
Американский фантаст безусловно прав, указывая на пагубность устранения «человеческого начала» в воспитании человека. Но такое устранение неминуемо, если образование и воспитание становятся — прямо или косвенно — таким же источником удовлетворения частноэгоистических интересов, как и производство пищевых концентратов. Передача дела формирования личности хищникам типа «компаний пищевых концентратов» означает только катастрофу — предупреждает американцев Роберт Янг.

Само собой разумеется, что наш комментарий к опубликованным в сборнике произведениям ни в какой мере не претендует на точность и полноту оценок.

Решающее слово тут, разумеется, принадлежит читателям.

**Б. В. Бирюков**

# ВИНСЕНТ ВАН ГОГ.



Нравится, да?.. Ну правильно, конечно. Не просто нравится, а открывает какой-то другой мир, вернее, сдвигает занавес, позволяет увидеть все вокруг свежими глазами. Материя живет, чувствуешь, как в ней кипят атомы и частицы. Предметы, явления раскрывают свою суть, все связывается со всем, начинают просвечивать грани иных измерений. Не правда ли, один из первых живописцев Голландии не уступает тем старинным вроде Рубенса или Ван Дейка. Но все свое, неповторенное. Кажется, как будто он ни у кого не учился, а если и учился, не использовал того, что узнал. Кубисты потом хотели сделать его своим предтечей, предшественником, но Винсент-то Ван Гог, я вам доложу, не отказывался от ответственности за мир. Наоборот, взял его на плечи, понес и пал, в конце концов, под этой ношей. И все в одиночку... Я с ним, между прочим, был довольно хорошо знаком. Встречался в разные периоды его жизни, нырял к ним, знаете ли, в предпоследнее десятилетие XIX века из последнего десятилетия нашего XX. Вся штука началась после того, как прошли эти Законы насчет путешествий во времени, помните?.. Хотя откуда вам помнить, вы этого вообще не знаете. Да вы садитесь, садитесь вот здесь — на этот стул можно, он не музейный. Просто я его приношу с собой, чтоб кто-нибудь мог отдохнуть. Приятно ведь посидеть

после того, как набегаясь по залам. Впрочем, вы как раз не из тех посетителей, что, высунув язык, носятся от фараонов к абстракционистам, за два часа успевают обскакать все мировое искусство и только для того, чтоб рассказывать после знакомым, что вот, мол, я ничего не пропустил. Слышали, наверное, эти разговорчики: «А «Джиоконду» вы видели?..» — «Видел». — «А вы «Купальщиц» Ренуара видели?..» И как только заверят друг друга, что все видели, говорить больше не о чем, как будто речь шла о прививках. Но на вас я сразу обратил внимание, как вы стали перед «Кипарисами», и минут на десять.

Так о чем мы начали — о путешествиях во времени. Понимаете, когда политические деятели усвоили, что прошлое лучше не ворошить, и отступились, в Камеры, во Временные эти Петли, хлынул другой народ. Ученые, художники, коммерсанты, вообще черт знает кто. При каждой Камере был, разумеется, учрежден совет, который состоял первоначально из старичков-академиков. Врывается к ним какой-нибудь историк, бьет себя в грудь — ему, мол, до зарезу нужно уточнить кое-какие детали битвы при Гавгамелах. Бионик выкрикивает про динозавров, кинорежиссер клянется, что у него задуман фильм на сюжет крестовых походов. Заявлений куча, те, кому отказано, злобствуют, распространяют слухи. Старички побились-побились, открыли, так сказать, ворота. И началось. Публика ринулась во все века и ко всем народам, в самые отдаленные эры вплоть до каменно-угольного периода. Везде суетятся, путаются под ногами, лезут с советами. Запакошили всю историю, житья никому нет. Особенно везде приелся тип всезнайки — бывают такие дурачки, которые, если смотрят в кинотеатре детектив второй раз, никак не могут удержаться, чтоб не испортить окружающим удовольствие, подсказывая, что дальше будет. Приходит, например, в Италию 1455 года к великому Клаудио Мадеруцци этакий самодовольный дуб и сообщает: так, видите ли, и так, умирать вам все равно в нищете. Клаудио, натурально, расстроен, лепить, рисовать бросает. Пошел по кабакам — и на тебе, итальянское Возрождение уже не имеет Мадеруцци, а только одного Леонардо да Винчи, который в прежнем-то варианте был названным братом Клаудио и с ним вдвоем даже написал несколько картин... При этом не только прошлое стало страдать, а и наш 1995 год, потому что сюда тоже зачастили из более отдаленного будущего. Только начнешь что-нибудь делать, тебе такого наговорят, что руки опускаются. И вот когда всем уже стало неважно, собрались

правительства стран, имеющих Временную Петлю, установили связь с путешественниками из других будущих веков и вынесли решение, чтоб все эти номера прекратить. Хочешь смотреть прошлое, смотри, но не вмешивайся. Издали Всемирный Закон об Охране Прошлого — пускать только таких, кто, хоть умри, не признается, что он из будущего и тем более мешать никому не станет. Все эту конвенцию подписали, а перед тем как разъехаться, сдернули еще некоторые самые вопиющие завитки. Восстановили, например, Колумба, потому что был уже такой вариант, когда совсем не Колумб открыл Америку. К нему тоже, знаете, явился какой-то болван и с планом в руках доказал, что, следуя через Атлантику на запад, в Индию тот не попадет. «Ах, не попаду, — говорит тогда Колумб, — ну и пусть, не стану мучиться». В результате Америка так и осталась неоткрытой, открыли ее только еще через сто пятьдесят лет, когда просто стыдно было не открыть...

Что вы сказали — «Будущее уже существует»... Да, естественно, существует. Вместе со всей суммой времен от первого мига в бесконечность. И прошлое и будущее — все существует одновременно и при этом каждое мгновение меняется. Как раз поэтому у нас нет настоящего, которое было бы статичной, неподвижностью. Верно же, нету? Куда ни посмотришь, все либо уже прошлое, либо еще будущее... Впрочем, это философские вопросы, в которые я забираться не стану. Вернемся к тому, с чего мы начали, то есть к Винсенту Ван Гогу. Если хотите знать, только благодаря мне вы и можете видеть тут в Лувре его произведения. Не пожалей я в свое время этих картин...

Короче говоря, с 1995 года эти поездки поставили под строжайший контроль. Каждый кандидат проходит двадцать всевозможных комиссий, представляет характеристики о нравственной устойчивости, начиная чуть ли не с ясель. Да еще докажи, что действительно надо, продемонстрируй, как будет достигнута полная незатронутость. В Лондоне, например, целый год готовились, чтобы сделать коротенький телефильм о Генрихе VIII, и им разрешили снять с воздуха пир рыцарей, только когда было доказано, что эти аристократы никогда не смотрели вверх, в небо — бывают ведь такие люди, что с определенного возраста всю остальную жизнь уже никогда не поднимают голову, чтобы глянуть на облака, синеву или звезды. А когда, скажем, снимали лагерь Спартака в 73 году до нашей эры, оператор замаскировался на самой вершине Везувия, работал через сильный телеобъектив, и было условлено, что если

к его тайпику кто-нибудь подойдет ближе, чем на полкилометра, он, чтобы скрыть следы, бросится в кратер вместе со всей своей аппаратурой. Таких, в общем, наставили рогаток, что пробиться никто не мог, и эти Временные Петли чуть ли не постоянно бездействовали.

Но, как вы знаете, закон на то и закон, чтоб его обходить. Свои подписи на торжественном документе поставили полномочные представители нескольких государств, но отнюдь не всякие там сторожа, техники и мелкие администраторы, работавшие при этих Камерах. Одним из таких техников оказался в 96 году некий мой знакомый с детства. Подчеркиваю, именно знакомый, а не друг — друзей я в ту пору вообще не заводил, потому что и один себя прекрасно чувствовал. Все мое было при мне. Два метра росту, широкие плечи, острый взгляд и быстрая реакция. Мне тогда как раз исполнилось двадцать пять, я уже успел с переулка, где родился, перебраться в собственный двухэтажный коттедж на Третьем Слое тут в Париже. А Третий Слой, как вы сами понимаете... Хотя сейчас его еще нету... В небо я с младенчества не смотрел, находя на земле все, что мне нравится. И вот однажды по осени попадаетея мне возле ипподрома этот Кабюс и сообщает, что работает при Временной Петле. Глаза у меня сразу загорелись, спрашиваю, неужели все-таки кто-нибудь ездит потихонечку в прошлое? Он отвечает, что ездят, почему бы не ездить, если с умом, но требуется большая затрата энергии, которую, чтоб в Институте ничего не заметили, нужно покупать где-то на стороне и перекачивать. Я выражаю согласие вложить капитал, и мы задумываемся, что же, собственно, привезти из прошлого. Золото или там драгоценные камни отпадают, поскольку и то и другое изготавливается синтетически. Остаются произведения искусства и, в частности, произведения выдающихся художников. Начиная наводить справки и узнаю, что один из самых цепимых живописцев минувшего столетия — Ван Гог. Иду в Национальную библиотеку, поднимаю материал и убеждаюсь, что нескольких лет не хватило бы, чтоб прочесть все о нем. Винсент Виллем Ван Гог родился в 1853 году, то есть почти за полтора века от нашего времени. Любил и был отвергнут. Отдался искусству, живя в нищете, написал около семисот картин. Измученный бедностью и непризнанием, сошел с ума и в возрасте тридцати семи лет покончил самоубийством, выстрелив себе в грудь. Слава пришла к нему только после смерти, когда была опубликована его переписка с братом Теодором и другими людьми... Ну, что же, все это мне очень нравится — типичная

биография для гения, лучшего и желать нельзя. Для последней проверки отправляюсь в лучший художественный магазин в Париже на бульваре Сен-Мари. Останавливаю первого попавшегося сотрудника и говорю, что хотел бы предложить подлинник Ван Гога. В зале сразу воцаряется тишина.

— Ван Гог?.. Подлинник?

— Да, именно.

Посетители смотрят на меня. Продавец просит обождать, уходит, возвращается и предлагает пройти к владельцу салона. Поднимаюсь на антресоли. В маленьком кабинете все стены заставлены книжными шкафами, напротив окна в тонкой медной рамочке репродукция с «Подсолнухов» Ван Гога. Лысый элегантный господин здоровается, ставит на стол чашечку кофе. Он взволнован, но старается этого не показывать. Спрашивает, что у меня есть. Говорю, что рисунок. «Какой именно?» Да так, отвечаю, мелочь — пастух с овцами. Господин нажимает кнопку звонка, в кабинет входит согнутый старик с седыми усами, как две сабли, — такая искусствоведческая крыса. Владелец салона вводит его в суть разговора, старикан выпрямляется, усы вскакивают торчком. Какой пастух — палку он держит в правой или левой руке? Что за местность кругом — деревья или голое поле? Темное ли небо и есть ли на заднем плане башня? Вижу, что передо мной их главный специалист по Ван Гог. Отвечаю наобум, что пастух вообще без палки, нет ни поля, ни деревьев, и небо не темное, не светлое, а серое с белой дыркой посередине. Старик закусывает губу, нахмуривается, а затем начинает шпарить, как по-писаному: дрентский период, рисунок задуман тогда-то, сделан тогда-то, упоминания о нем есть в таких-то и таких-то письмах. Развертывается, одним словом, целая лекция. Мне все это не интересно и напрямик спрашиваю, сколько можно за такую вещь получить. Элегантный господин думает, затем осторожно говорит, что средне сохранившийся рисунок Ван Гога идет, мол, сейчас по одной, а хорошо сохранившийся — по две тысячи ЕОЭнов — при условии проверки на молекулярном уровне. Чтoб было понятно, скажу, что, располагая в 1996 году сотней, например, тысяч Единиц Организованной Энергии, вы могли воздвигнуть себе небольшой индивидуальный остров в Средиземном море — даже в глубоком месте насыпать соответствующее количество земли, насадить парк, построить дом и провести дороги... Очень хорошо, очень приятно. На этом я удаляюсь, рассказываю все Кабюсу, и мы решаем, что если такое дело, надо брать из прошлого побольше. Я предлагаю спуститься в Париж сто-

летней давности, то есть в 1895 год, когда художник уже умер, и его картины, пока еще ничего не стоящие, хранятся у вдовы брата Иоганны, которая впоследствии издала переписку Ван Гога.

Начинаем готовиться. Кабюс берет у меня пятнадцать тысяч ЕОЭнов и добавляет пять своих. Я приобретаю у нумизматов деньги той эпохи. Заказываю себе костюм — мешковатые длинные брюки в полоску, пиджак без плеч, черный цилиндр с мягкими изгибающимися полями. На шее тогда, между прочим, носили не галстук, а этакую темную ленточку. Все довольно неудобное, ощущаешь себя чучелом, но раз надо, то надо. Проходит две недели, приготовления закончены, погожим вечером мы отправляемся в Институт на Клиши. Сонному охраннику Кабюс объясняет, что я приглашенный на ночь хроноспециалист, и тот кивает. Коридоры, повороты, нигде ни души. Кабюс открывает своим ключом дверь во Временную Камеру. Техника была такая: указатель ставится на нужный год, месяц, число и час. Затем включение на полсекунды, чтоб бросить взгляд вокруг, еще одно на две секунды для более детального осмотра и окончательный перенос. Эти предварительные включения начали практиковать после того, как одного знаменитого палеонтолога материализовали за сто тысяч лет назад в каменный век прямо перед разинутой пастью пещерного льва.

У меня все прошло нормально. Оглянулся один раз, огляделся другой, и вот я уже в Париже 10 мая 1895 года в полдень воскресенья.

Забавная, скажу вам, штука попадать в чужое время. Первое, что всегда поражает — тишина. Если взять город моей современности или, к примеру, вот этой, 1970 года, то, несмотря на борьбу с шумом, дай бог услышать, что в двух шагах от тебя делается. У нас ближние звуки забивают все дальние. А тут явственно раздавались не только шаги прохожего неподалеку, но стук кареты за углом и даже слабенький звоночек конки квартала за три. Ну потом, конечно, отсутствие автомобилей, чистое небо, свежий воздух, из-за чего создавалось впечатление, будто все обитатели этого мира прохлаждаются на курорте. И какая-то претенциозность в людях. Каждый шествовал по улице со своим выражением на физиономии, причем явно насильственным. Женщина в черном платье до пят старалась показать, что она воплощенная скромность. У толстяка с золотой цепочкой через жилет значилось на лице, что он человек чрезвычайно порядочный, а у разносчика, тащившего большую

картонку из магазина, — что отменно трудолюбивый. Любопытный как бы содержал в себе двоих: одного, которым был в действительности, и второго, каким хотел казаться. Мне в этой связи пришло в голову, что прогресс человечества — это, кроме всего прочего, движение ко все большей естественности и непринужденности.

Возник я тут же на старом бульваре Клиши — собственно на том месте, где была Камера. Ну и побрел — приличный молодой человек, хорошо одетый, с тростью и большим саквояжем. Должен признаться, что меня одолела странная сумасшедшая радость. С трудом сдерживался, чтоб не выкинуть какую-нибудь штуку — разбить, скажем, стекло в витрине, перевернуть карету или дернуть за нос разряженного шеголи, важно шествующего навстречу. Мой рост по сравнению с другими прохожими делал меня просто гигантом, я чувствовал, что при любой выходке могу остаться безнаказанным. Тут ведь еще не слыхали о том, что стометровку можно пробегать за 8,5, а в длину прыгать на девять и восемь. Меня б не догнал ни пеший, ни конный, а дойди до драки, я бы раскидал, пользуясь современными приемами бокса и самбо, любое количество полицейских. Вообще мог стать королем подпольного ночного Парижа, где не было радиопередатчиков, мотоциклов, дактилоскопии, подслушивающей аппаратуры, электронных сторожей и всех других будущих средств обнаружения и поимки преступника. С моей точки зрения, окружающие были маленькими и слабыми. Я их презирал и жалел одновременно.

Посмеиваясь про себя, прошагал одной улочкой, другой, миновал небольшое кладбище, подъехал одну остановку конкой, в которую еле втиснулся, плутал некоторое время в переулках и добрался до номера 8 по улице Донасьон.

Домик, крылечко, садик, клумбочки с цветами — все маленькое, игрушечное, дробное, не такое, как в нашем или в вашем времени. Дергаю ручку проволочного устройства со звончком — тишина, только пчелы колдуют над желтыми лилиями. Дергаю снова, внутри в домике какое-то шевеление, но дверь не отворяется. Рву эту проволоку третий раз, и на крыльцо, наконец, выходит женщина средних лет — глаза чуть навывкате, выражение лица испуганное. За ней старушка-служанка. Здравуюсь через забор и объясняю, что я иностранец, слышал о произведениях Винсента Ван Гога, которые здесь хранятся, хотел бы их посмотреть.

Хозяйка, эта самая Иоганна, несколько успокаивается. Старушонка отворяет калитку, поднимаюсь на крыльцо. Дом со-

стоит из трех комнаток. В первой что-то вроде гостиной, вторая вся завалена папками и бумагами, третья, как я догадываюсь, служит спальней для мадам и для служанки. Обстановка в целом бедная. Хозяйка спрашивает, от кого я слышал о картинах Винсента, я называю какие-то вычитанные в справочниках и монографиях имена. Она удовлетворена, на лице появляются оживление и даже сдержанная скромная радость. Ведет меня на второй этаж в мезонин или, вернее сказать, чердак. Темновато, тесно, и здесь на грубых стеллажах расположены работы Винсента Ван Гога.

Подлинники.

Берусь их просматривать, и вдруг мною овладевает глубокое недоумение. Почему он считается великим художником? В чем его гениальность? За что любители живописи готовы будут отдавать огромные деньги?.. Понимаете, когда я смотрел репродукции в роскоши изданных альбомах и читал всевозможные славословия, это было одно. Но теперь картины передо мной на чердаке, у меня есть возможность увидеть их напрямую, а не через облагораживающую призму времени, и становится ясно, отчего ему удалось за всю жизнь продать только одно-единственное произведение. На пейзажах деревья двумя-тремя мазками, дома грубыми пятнами. Если он делает, например, огород, то не разберешь, что там посажено — капуста или салат. Нигде нет отделки, этакой, знаете, старательности, повсюду поспешность, торопливость, небрежность. Впечатление, будто все, что он видел, ему хотелось огрубить, исказить, исказить. Я начинаю догадываться, что слава большинства знаменитых художников, а может быть, и поэтов — не столько их заслуга, сколько результат шумихи, которую позже поднимают всякие критики и искусствоведы. Попадись вам в руки пьеса Шекспира, поэма Пушкина или гравюра Дюрера, но при условии, что вы слыхом не слыхивали ни об одном из трех, первое и второе показалось бы вам выпендривом, а третье просто скучным. Каждому из нас с детства попросту вколачивают в голову, что, скажем, Шекспир и Микеланджело — это гении, а без такого вколачивания мы бы их ни читать, ни смотреть не стали... Все это проносится у меня в мыслях, но вида я, естественно, не подаю и говорю себе, что мое дело маленькое, раз за Ван Гога будут платить такие ЕОЭны.

Повертел в руках одну вещь, вторую, обращаюсь к хозяйке дома — служанка торчит здесь же в дверях — и говорю, что мог бы купить, если не все, то хотя бы главное. Холстов так двести. Иоганна Ван Гог поднимает на меня свои бледные глаза:

«Купить?» Да, именно купить и заплатить наличными любую цену, которую она назначит. При этих словах вынимаю из кармана пачку тысячефранковых билетов, развертывая их всею. И что же я получаю в ответ. Представьте себе, что глаза выкапываются еще больше, увядшая дама склоняет голову и тихим, но твердым голосом сообщает мне, что картины непроданные. Она, видите ли, уверена, что брат ее покойного мужа Винсент Ван Гог сделал очень много для искусства, в будущем должен принадлежать человечеству, и поэтому она не считает себя вправе продать его произведения частному лицу. Она намерена издать его перепику — та самая комната, заваленная бумагами — и надеется, что после этого люди поймут, каким прекрасным человеком и гениальным художником Винсент был. Продать она ничего не может, но поскольку мне нравятся его вещи, она готова подарить несколько рисунков и одну-две картины из тех, которые написаны в нескольких вариантах. Улавливаете, какая психологическая установка — продать нельзя, а подарить можно. Типичный, старомодный девятнадцатый век.

Я выслушиваю все это вежливо, притворяюсь, будто обиделся и говорю, что либо все, либо ничего.

Штука-то в том, что мной был учтен и этот вариант. Ведь я, вооруженный достижениями нашей науки, был почти всемогущ по сравнению с жителями конца прошлого века — что-то вроде зрячего в стране слепых. За день до отъезда я заглянул к знакомому аптекарю и выудил у него особый пузырек, который в нашей эпохе употреблялся для перевода диких зверей из одного заповедника в другой. Вы надавливаете кнопку, задерживая при этом дыхание секунд на сорок, а все живое в тридцатиметровом радиусе погружается в глубокий сон. Пожимаю плечами, сую деньги в карман и нащупываю там пузырек. Обе женщины тотчас начинают зевать, тереть глаза и через полминуты опускаются прямо там, где стояли. Я же извлекаю из саквояжа второй поменьше и неторопливо принимаюсь отбирать картины. Помню, что взял «Башню Ньюэнен», «Подсолнухи», «Кафе в Арле», «Прогулку заключенных», само собой разумеется, «Сеятеля» — около двух сотен холстов и картонов, которые на мое счастье лежали тут прямо без рам. Заглянул еще в комнату на втором этаже и прихватил две папки с письмами из того десятка, что там лежали на столе. Набил, короче говоря, до отказа обе свои емкости, вышел, нанял карету и спокойно поехал на бульвар Клиши. С Кабюсом мы договорились, что он выдернет меня через сутки, для чего мне следовало быть в назначенное время на том же самом месте, где я ма-

тернализовался. Переночевал в маленьком отеле, к полудню вышел на улицу, поднял повыше оба саквояжа. Секунды бегут на ручных часах, мгновенное небытие (нулевое состояние), и я уже во Временной Камере, в Институте нашего века, а все, что только происходило, откатывается в глубокое прошлое, на сто лет назад. Поворачивается ключ в замке, передо мной лисья мордочка Кабюса. Тотчас замечаю, что мой приятель несколько переменился. Стал чуть поменьше ростом и еще длинноносее, чем раньше.

Он оглядывает саквояжи.

— Привез?

— Привез. Почти что весь Ван Гог целиком.

— Что за Ван Гог? Мы же договаривались насчет Паризо.

— Какой Паризо?

Мы, одним словом, не можем друг друга понять. Но спорить некогда, надо выносить саквояжи из Института. Благополучно минуем охрану. Кабюса я завез домой, сам еле дождался утра, беру несколько холстов и мчусь в тот художественный салон. Поднимаюсь сразу наверх и говорю лысому владельцу, что могу предложить Ван Гога. Тот поднимает брови.

— А кто это такой?

— Как кто? Да вот у вас репродукция с его «Подсолнухов».

Сам при этом смотрю и вижу, что в медной рамочке уже совсем другая вещь.

Хозяин салона нажимает кнопку, появляется старикан с усами. Хозяин спрашивает, знает ли он Ванг Гога. Старикан заводит взор к потолку, мнетя, пожимает плечами, думает. Да, действительно был в прошлом веке такой малозначительный художник. Он упоминается в одном из писем Паризо.

Эlegantный владелец салона смотрит на меня.

— Послушайте, вы уже у нас были две недели назад и обещали принести подлинный рисунок Паризо.

— Я?.. Паризо?..

— Ну, конечно. «Качающиеся фонари в порту», — рисунок, о котором Паризо писал Браку. Та вещь, которой недостает в «Марсельской серни».

Бегу в библиотеку, принимаюсь листать справочники по искусству. Нигде даже упоминания о Ван Гоге, ни единой строчки, но зато повсюду красуется Паризо.

Думаю, вы уже догадались, в чем дело. С нами сыграл шутку этот самый «эффект Временной Петли», о котором мы с Кабюсом и представленья не имели.

Вообще, с этими альтернативными вариантами очень интересно.

Знаете, любое изменение в прошлом вызывает новую последовательность конкретных событий, и цепь изменений тотчас распространяется по всей линии времен вплоть до момента, с которого вы совершили прыжок в прошлое. Вся история мгновенно в нулевое время перестраивается, а людям кажется, что всегда так и было. Это, кстати, самое главное. Именно людям кажется, но не человеку, который сам путешествовал и помнит прежнюю ситуацию. Вот вы, предположим, отправились в XIX век, побыли там неделю, — это, между прочим, означает, что вас неделю в современности не было — возвращаетесь и видите, что ваш приятель ссутился, как рыболовный крючок. Вам-то ясно, что это одно из непредсказуемых последствий того, что вы наколбасили там в прошлом — до вашего отъезда приятель славился своей осанкой на всю улицу. Теперь кое-что переменялось, но вы помалкиваете, а приятель вас ни в чем не винит, поскольку в новой последовательности событий так и родился, привык к своей сутулости и не мыслит себя иначе. Вместе с тем и на вас, выбравшегося из Временной Петли, окружающие глядят с легким недоумением. Ведь изменения коснулись и вашей прежней личности, той, что входила в Петлю, а вышли-то вы из Камеры, сохранив свой изначальный, перво-вариантный вид. В результате родным и знакомым приходится заново привыкать к вам, да вы и сами вынуждены осваиваться со своей новой биографией...

«Не так уж приятно»... Так в том-то и дело. Это сперва всем казалось простым, но позже поняли сложность.

В результате таких вот номеров стало ясно, что всякий, вмешивающийся в прошлое, обязательно попадает впросак. Тогда и было разрешено простым гражданам путешествовать в другие века, а потом уже началась та заваруха, после которой прошел Закон об Охране Прошлого. Но теперь, представьте себе, что мы-то об этом не знали, как и подавляющее большинство населения Земли. Планета жила себе и жила, варианты сменялись, а человечеству всякий раз казалось, что всегда так и было. Тут особенность как раз в том, что лишь той личности, которая путешествовала, известно, какой была ситуация раньше. Вот что лично я знал к этому моменту о Временных Петлях? Ну, читал, естественно, в газетах, что они созданы, видел по телевизору несколько коротеньких, из-за угла снятых фильмов — «Пир Генриха VIII», «Лагерь Спартака», и в таком духе. Ходили слухи, что несколько человек вообще пропали, отпра-

вившись в прошлое, как тот знаменитый палеонтолог. И все! Будь мы с Кабюсом поумнее, нам следовало бы прикинуть, что если я извлеку из прошлого какие-то картины Ван Гога, они соответственно исчезнут в нашем настоящем из музеев и частных собраний. Но мы даже как-то и не задумались — ему двадцать девять лет, мне еще на четыре года меньше. Ажю-таж, воспаленное воображение, чудятся миллионы и даже миллиарды ЕОЭнов.

А последовательность событий в результате моей дурацкой эскапады получилась такая. Я, можно сказать, изъял Ван Гога из обращения. Унес основной фонд его картин, да еще прихватил значительную часть писем. Поэтому вдова брата не смогла ничего издать, и Винсент Ван Гог практически вычеркнулся из истории искусства. Позже на рубеже XIX и XX веков возник другой талант примерно того же направления — Паризо. Когда изменения по сети времен дошли до нашей эпохи, родился я, встретился с Кабюсом, стал наводить справки о живописцах, узнал о Вальтере Паризо и именно его захотел вынести из прошлого. Поэтому Кабюс, когда я вышел ночью из Временной Петли, и сказал, что речь у нас шла о Паризо.

Что же в итоге? На руках у меня два саквояжа с картинами Ван Гога, но я же и являюсь единственным во всей Вселенной существом, которое знает, что такой художник вообще есть. Подумал я, подумал и решил сдернуть завиток. Истраченных на создание излишка ЕОЭнов это не возвращало...

«Сдернуть завиток»... Ах, да! Я же вам не объяснял. Дело в том, что сразу после создания Временных Камер выявилась возможность исправлять наиболее неудачные шаги. Этот маневр называли «снять Петлю» или проще — «сдернуть завиток». Допустим, вы побывали в XV веке либо в V, а вынырнув в XX, убеждаетесь, что последствия вашего путешествия выглядят уж слишком непривычно. Тогда надо влезть еще раз в Камеру, повторно поставить указатель на тот же момент и тут же шагнуть обратно, не предпринимая ничего. В этом случае все возвращается на свои места, будто вы и не путешествовали. Правда, указатель никогда не встанет точно, и поэтому разные мелкие изменения все же могут прорываться...

Что?.. Колумб?.. «Как узнали, что в основном варианте был Колумб?» Да просто потому, что не один тот болван находился в это время в прошлом, а еще довольно много народу. Их не затронули изменения, они, когда повозвращались, и поднимали скандал. Вообще, конечно, не все удалось восстановить в прежнем виде. Очень может быть, что тот вариант прош-

лого, результатом которого мы сами являемся, вовсе не первоначальный. Про Клаудио Мадеруцци я вам уже рассказывал. Беда в том, что в таких случаях нужно посылать того же человека в тот же момент. Но тот олух, который предсказал Мадеруцци его печальный конец, погиб на третий день после того, как вернулся в нашу эпоху. Поехал развлекаться в Египет и там на персональном самолете врезался в пирамиду Хеопса — западную сторону потом несколько дней отскребали от гарн, образовавшейся при взрыве. Думаю, что Клаудио скорее всего не одинок в своем несчастье. Наверняка таким же образом для нас пропало еще много художников, ученых, изобретателей. Но зато, пожалуй, появилось и много новых.

Вернемся, однако, к Ван Гогу, то есть к нам. Проникли мы опять ночью в Институт, — оба саквояжа я принес с собой — и сдернули Петлю. Наутро я опять побежал в библиотеку и убедился, что все в порядке. Ван Гог восстановился, каждая энциклопедия уделяет ему не меньше полстраницы, статей и даже монографии просто не сосчитать. А беднягу Паризо как корова языком слизнула. Посоветовался с Кабюсом и пришел к выводу, что не надо гоняться сразу за всем, а лучше привезти одну, но достаточно ценную вещь. Остановился на «Едоках картофеля», которая в нашем времени оценивалась в целых двести тысяч. Ход моих рассуждений был таков. Я спускаюсь в прошлое, приобретаю у художника первую из его крупных картин, и об этом он несомненно сообщит брату, как о замечательном успехе.

В нашей современности произведение, само собой разумеется, мгновенно исчезнет не только из галерей, где сейчас находится, но из всех альбомов и книг с репродукциями. Однако в истории искусства оно останется, как утраченное. Его будут упоминать все исследователи, сожалеть, что оно было кем-то куплено и с той поры пропало. Я же, вернувшись в наш век, сочиню сказку, будто нашел «Едоков» на старом чердаке в доме дальних родственников.

Кабюс возражать не стал, он взял у меня еще пятнадцать тысяч, сложил их со своими, чтобы в течение ближайших недель создать избыток в энергетическом резервуаре Института, а я уселся поплотнее за изучение материала. Приобрел одно из последних изданий «Писем Ван Гога». Книга была издана роскошно, но, как позднее выяснилось, с опечатками. Так или иначе, я убедился, что с «Едоками картофеля» все должно кончиться хорошо. В своих посланиях к брату и к художнику Раппарду Винсент подробно рассказывает о своем замысле, об эс-

кизах, о начале работы и об ее конце. «Едокам» он придавал большое значение, несколько раз возвращался к этой теме и в дальнейшей переписке.

По книге получалось, что он закончил вещь в марте 1883 года, а 6-го апреля послал ее Теодору в Париж. Значит, мне нужно было явиться к нему числа 3-го или 4-го, чтобы застать картину высохшей и транспортабельной.

С точки зрения биографии художника это был один из наиболее тяжелых периодов. За плечами Ван Гога осталось уже тридцать лет прожитой жизни, за которые он ничего не добился. У него, вполне взрослого мужчины, нет ни семьи, ни женщины, ни друзей, ни своего угла и вообще никакой собственности. Он пробовал стать продавцом в художественном магазине, но его выгнали, пытался сделаться священником, но католический капитул маленького шахтерского городка Боринаж в ужас пришел, услышав его проповеди. Девушка, его первая любовь, переехала в другой город, как только он признался ей. Общество заклеймило его в качестве ничтожества и неудачника. Он и в самом деле не в состоянии был приспособиться к миру, в котором жил, не умел даже заработать себе на пропитание. Какая-то шизофреническая правдивость, соединенная с гневным неуживчивым характером, приводила его к катастрофе, за что бы он ни брался. Родные стыдились его, старались держать подальше от себя. Он скитался из одного конца Голландии в другой, оборванный, голодный, существуя на жалкие гроши, которые могли присылать ему брат и презиравший его отец. 1883 год застает Ван Гога в маленьком местечке Хогевен на севере страны, где он решает полностью отдаться искусству и научиться писать. Но у него нет школы, никто ему ничего не показывал, он вынужден создавать свою технику и свою теорию. В письмах к Теодору он, подавляя свою гордость, просит оказать ему хоть чуть-чуть доверия, дать хотя бы капельку теплоты. Он выкраивает на краски и бумагу из тех сумм, что брат посылает ему на хлеб. Но при этом же он нередко становится в позу судьи и посвящает целые страницы суровой критике современной ему живописи.

Честно говоря, я увлекся этими письмами, что-то в них билось суровое и величественное. Хотелось даже скорее увидеть самого художника.

Материализовался в 1883 год я опять в Париже на той же улице Виктор, сразу пошел на вокзал, поездом до Утрехта, оттуда на Меппель каналом на Зюйдвальде, почтовой каретой до городишка Амстельланд и оттуда пешком до Хогевена. Мне

потребовалось около трех суток, чтобы преодолеть пятьсот пятьдесят километров, и скажу вам, то были нелегкие километры. Поезд еле тянется, маленькие вагончики дребезжат и стонут, на пароходе в каюте не повернешься, в карету я вообще еле влезал. Повсюду мухи, а когда они отступают, за тебя без передышки берутся клопы и блохи, которых в поезде и на пароходе предостаточно. Весна в тот год запоздала по всей Европе. В своем времени я приготовил пальто соответствующей эпохи, но в последний момент посчитал его слишком тяжелым и грубым, в результате на солнце мне все равно было жарко, а как только оно заходило, становилось холодно. И в другом смысле эпоха столетней давности отнюдь не казалась мне курортом. В Париже 1895 года народ празднично шатался, но, как я потом сообразил, это объяснялось воскресным днем и тем, что я попал как раз на улицу, заселенную чиновниками. Теперь же стало ясно, что люди работают, да еще как вкалывают. И все руками. Метельщик метет, пахарь пашет, землекоп копает, ткач тклет, кочегар без отдыха шурует, повсюду моют, стирают, выколачивают. Встают с восходом, ложатся с закатом, и постоянно в хлопотах, в непрерывном движении, четырнадцать часов работы считается еще немного. Это в наше время трудиться означает трудиться головой. А там чуть ли не все на мускульной силе человека, которая и движет этот мир. Куда ни глянешь, руки так и ходят.

Добрался я до Амстельланда ближе к вечеру, отсюда до Хогевена оставалось около трех километров. Я рассчитывал, что схожу к Ван Гогу, куплю картину и успею на ночную почтовую карету, которая довезет меня обратно в Зюйдвальде на баржу.

Местность была довольно унылая, одноцветная. Равнина, болота, изгороди и больше, собственно, ничего. С моей точки зрения, настоящий художник тут не смог бы и вдохновиться.

Дошагал до места, навожу справки о «господине, который рисует», мне показывают какой-то курятник на самой окраине. Домишко, в каком столетием позже и собака постыдилась бы переночевать. Правда, исключения он не составлял, поскольку вся эта деревня (или город) состояла из нескольких десятков таких же строений.

Стучусь, предлагают войти. Вхожу и сразу говорю себе, что больше трех минут я в этой яме не выдержу. Духота, натоплено углем, сырость, грязь, копоть. Такое впечатление, что тут и одному не поместиться, как следует, однако в комнате целых шестеро. Старик, который курит вонючую трубку, жен-

щина с младенцем — его она держит одной рукой, а второй умудряется тереть что-то в деревянном корыте. Старуха на кровати, мужчина с тяжелой челюстью, который за столом медлительно прожививает что-то, черная из миски, и рыженький подросток, что сидит чуть поодаль от других и смотрит в окошко. Сидит на краешке скамьи, неестественно выпрямившись, как человек, который здесь временно, который, пожалуй, везде временно. И все это не столько освещено, сколько замутнено и отуманено желтым огоньком керосиновой лампочки, подвешенной под низким черным потолком.

Глаза поворачиваются ко мне, только мужчина за столом не поднимает тупого равнодушного взгляда от миски. Спрашиваю, нельзя ли увидеть господина Ван Гога. Минутное замешательство, подросток встает, подходит ко мне. Повторяю раздраженно, что мне нужен художник Ван Гог. Все смотрят на меня недоуменно, молчание, подросток делает неловкий жест, и вдруг я вижу, что это не подросток, а взрослый. У него рыжая бородка, острые скулы, впалые щеки, выуклый широкий лоб с большими залысинами и редкие, зачесанные назад волосы. Черты лица очень определенные, резко очерченные. На мой взгляд ему не тридцать, а все сорок пять лет, и только маленький рост, нелепая короткая курточка и какая-то напряженная выпрямленность в осанке делают его похожим на мальчишку.

— Я Ван Гог,— говорит он и слегка кланяется всем корпусом.

Здороваюсь, отрекомендовываю себя вымышленным именем.

Он еще раз сдержанно кланяется.

Оглядываюсь, положение какое-то нелепое. Я торчу посреди комнаты в неудобной позе, не имея возможности выпрямиться, так как потолок слишком низок. Непонятно, здесь заводить разговор или выйти на улицу, где уже начинает темнеть. Я готов и выйти, но не покажется ли это хозяевам невежливостью. С другой стороны, мне просто тяжело стоять, согнувшись.

Ван Гог молчит, и остальные тоже.

Оглядываюсь опять, нигде никакой помощи. Чувствую себя ужасно неловко. Откашливаюсь, говорю, что хотел бы посмотреть его рисунки и, возможно, приобрести что-нибудь.

Ах, рисунки! Лицо Ван Гога мгновенно светлеет, оно юношески заливается краской. Что же, пожалуйста, с удовольствием! Он очень рад и польщен.

Поспешно делает два шага в сторону, нагибается, лезет под старухину кровать, выныривает оттуда с ворохом бумаги и картона. Выпрямляется, но все это негде даже разложить, и он остается стоять так, глядя не на хозяев, а на меня.

Мужчина за столом неторопливо отправляет в рот ложку, встает, ставит миску на подоконник. Что-то говорит старику. Вдвоем подходят к старухе, она с трудом спускает ноги с постели. Старик накидывает ей на плечи платок, и все трое выходят вон. Женщина скидывает с себя передник, положив ребенка на скамью, споласкивает руки тут же в корыте, тряпкой протирает стол, который и так чист, если в этих условиях вообще можно говорить о чистоте. Она прибавляет света в лампе, берет ребенка и садится с ним у печки. Все молча и быстро.

Территория освобождена, Ван Гог кладет свой ворох на стол. Он все еще не предлагает мне сесть, смотрит на женщину. Та, будто почувствовав его взгляд, поворачивается к нам, той же тряпочкой протирает табурет и подталкивает к столу.

Сажусь, наконец, и Ван Гог принимается показывать рисунки. Он совсем переменился, выражение озлобленности исчезло, голубые глаза уже не так суровы, лицо озарено.

Рисунки выполнены главным образом тушью, некоторые на тонированной бумаге, но больше на простой. Многие я довольно хорошо знаю: «Девочка среди деревьев», «Рыбаки, встречающие барку», «Хогевенский сад зимой». В дальнейшем по каждому из этих листков возникает целая литература, они приобретут каталожные номера, обязательные для ссылок, всячески дополнительные обозначения. Я вспоминаю, что по-скольку «Хогевенский сад» выполнен в двух вариантах, один из которых через сто лет окажется в Будапештском музее изящных искусств, а другой в Нью-Йорке, между специалистами из обоих городов разгорится ожесточенный спор относительно того, какой вариант знаменитого рисунка является первым. Но до этого протечет еще десять десятилетий, а пока художник, голодный и тощий, суетится у стола и тревожно, робко заглядывает мне в глаза, стараясь понять, нравится ли хоть что-нибудь.

Он начинает говорить, задает вопросы, но не дожидается ответов. Его несет, это фонтан, гейзер, лавина.

Люблю ли я рисунки вообще?.. Лично он считает, что рисунок — основа всякой живописи, хоть масляной, хоть акварельной. Только рисунок дает свободу в овладении перспективой и пространством, причем эта свобода оплачивается срав-

нительно низкой ценой, так как тушь и бумага стоят не так уж дорого, если говорить о материальной стороне, в то время, как даже за акварельные краски нужно платить бешеные деньги. Он знает молодых художников, что сразу хватаются за живопись, но, не поняв предварительно природы, рисуют «из головы», затем тоже «из головы» наобум малюют что попало, смотрят на свою работу издали и корчат многозначительные рожи, стараясь уяснить, что же получилось. По настоящему-то ключ к живописи нельзя найти исключительно в самой живописной технике. Если так поступать, дело кончится тем, что лишь испортишь массу дорогих материалов. Он решил сначала набить руку на рисунке и не раскисается. Ему почти не пришлось учиться, он только недолго ходил в мастерскую Антона Мауве в Гааге... кстати, от кого я вообще услышал о нем и как нашел дорогу сюда в Хогевен? Если от Мауве или тем более от Терстеха, то не надо с полным доверием относиться к тому, что они сказали о нем. Терстех считает, будто он ленится работать с гипсами, изучать художников-академиков и вообще рисует слишком быстро. Но что касается изучения человеческого тела по гипсам, он вообще не верит в это. Фигура крестьянина, который выкапывает репу из-под снега, не обладает и не будет обладать классическими пропорциями. К таким вещам нельзя подходить с салонной точки зрения, а надо набраться мужества и передать тяжесть труда, который не передашь, если сам не будешь вылезать из мастерской, не потащишь свой мольберт на пустошь, не пройдешь десятка километров до подходящего места. Если у тебя, в конце концов, у самого тело не будет болеть и ныть. Он так и делает, и не может поэтому согласиться с тем, будто ищет легкий путь. За каждым из его законченных рисунков стоят десятки эскизов, выполненных не только в комнате, а и в поле, на болоте и на лугу, когда пальцы стынут и с трудом держат карандаш. Он старается не только изобразить пейзаж верно, но и передать настроение. Вот, скажем, этот «Сад в Хогевене». Может быть, здесь есть недостатки, он сам отлично понимает, что это несовершенство и многого не стоит, но с его точки зрения в голых деревьях уловлен какой-то драматизм и выражено чувство, которое овладевает человеком, когда он на голодный желудок, как всякий крестьянин, должен выйти и приняться за окапывание яблонь в дождь и ветер. Сейчас в моде итальянские акварельки с голубым небом и живописными нищими — все сладкое, сахарное, приятное. Но он предпочитает рисовать то, что видит, то, что вызывает у него скорбь, любовь, восхищение и жа-

лость, а не такое, что понравилось бы торговцу картинами. Он считает оскорбительным для художника поступать иначе. Если хочешь изобразить нищего, то нищета и должна быть на первом плане, а не живописность. Нельзя забывать, что этот человек страдает, что ему предстоит одному умереть в канаве без всякой помощи. Пусть рисунки не отличаются академической правильностью, но каждый сделан для решения определенной задачи... Вот эта, например, «Женщина с прялкой» не удалась — ее и смотреть не стоит. Дело в том, что комната маленькая, он должен был бы отойти чуть подальше от натуры, но тут этого нельзя сделать. И при всем том, по его мнению, рисунки показывают, что он не стоит на месте, а движется...

Понимаете, он обрушил на меня все это, не позволяя вставить слова. Одиноким в этой деревне, где ему не с кем было даже перемолвиться, он теперь говорил, говорил и говорил, совершенно забывшись.

Топилась печка, коптила лампа, поднимались испарения. Голова у меня начала кружиться, я чувствовал, что могу просто свалиться тут же под стол. Надо было все прекращать, я спросил, нет ли у него чего-нибудь сделанного маслом.

Ах, маслом! Да, конечно! На лице его мелькнул легкий испуг, он решил, что рисунки не понравились. Проворно сунул их под кровать, извлек из-за сундука возле окна груды холстов и картонов. Тут было три пейзажа, но эскизных, две марины, несколько портретов.

И снова принялся объяснять. Пусть мне не покажется, что вот в этом пейзаже неестественный свет. Это говорит привычка видеть картины, сделанные в мастерской. Большинство современных художников, не таких прекрасных, как Милле, Коре или, скажем, Мауве (он очень любит Мауве, хотя они и разошлись), а средних живописцев — очень любят свет, однако не живой, не настоящий, не тот, что можно увидеть утром, днем или ночью среди полей или, в крайнем случае, среди улицы. Большинство художников пишут в мастерской, и поэтому свет у них одинаковый, холодно металлический. Ведь в мастерской можно работать только с 11 до 3 часов, а это как раз самое пустое в смысле света время суток. Респектабельное, но лишенное характера и апатичное. Он же как раз старается работать непосредственно с натуры. У него, правда, нет мастерской, но будь она, он поступил бы так же. И пусть я не думаю, что морской пейзаж сделан слишком быстро. Он писал вещь в Краггенбурге во время шторма, принимался несколько раз,

но ветер нес песок, который налипал на краску. Приходилось соскребывать. Он потом нашел укрытие за старой баржей в дюнах и после каждых нескольких мазков бегал к берегу, чтоб освежить свои впечатления...

Я жестом отверг пейзажи, и он перешел к портретам.

— Видите,— говорил он,— у нас часто пишут человеческое лицо так, что краски, положенные на полотно, имеют примерно тот же цвет, что и тело. Когда смотришь с близкого расстояния, получается правильно. Но если отойти немного, лица делаются томительно плоскими, потому что розовые и нежно желтые тона, мягкие по себе, на расстоянии выглядят жестко и пусто. Я же работаю так, что вблизи это кажется несколько неестественным — зеленовато-красный цвет, желтовато-серый или вообще не поддающийся определению. Но вот отойдите сейчас немножко в сторону, и вы почувствуете верность, независимость от краски, воздух в картине и вибрирующий свет. Вот встаньте, пожалуйста.

Я встал, совершенно замороченный, и стукнулся башкой об потолок. Причем довольно здорово. В глазах на самом деле появился вибрирующий свет, и я рухнул на табуретку.

Ван Гог забегал вокруг меня, извиняясь.

— Ну, хорошо. А нет ли у вас чего-нибудь поновее? — спросил я, потирая ушибленное место. Станным образом этот удар меня как-то подбодрил. — Дайте мне какую-нибудь композицию. Покажите самое последнее.

Он задумался на миг.

— Да-да, сейчас. — Слезил снова под кровать и выпрямился с большим пакетом в руках. — Вот это. Я собирался завтра послать ее брату в Париж. — Он стал разворачивать пакет, развернул и трепетно уставился на меня.

«Едоки картофеля», как всем известно, изображают просто едоков картофеля и больше ничего. По тем своим временам я вообще не мог понять, зачем рисуются такие вещи. Другое дело, когда художник воссоздает на полотне хорошенькую брюнеточку либо блондинку — обнаженные плечики, грудь, полуприкрытая кружевом. Хорошо, если она при этом призывно смотрит на зрителя или, наоборот, опустила глазки и загораживает грудь пухлой ручкой — таковы были мои тогдашние требования к классическому искусству, если не говорить об искусстве рекламы, где сюжету следует быть гораздо острее и обнаженнее. Здесь же на полотне было семейство крестьян, собравшихся вокруг блюда с картошкой. Они едят сосредоточенно, истово, ощущаются молчание и тишина. Лица грубые,

усталые, руки тяжелые и корявые. Правда, какие-то акценты меняются от человека к человеку и заставляют взгляд пробежать по всему кругу. Фон сделал почему-то синим, лица картофельного оттенка, а руки у персонажей коричневые.

Ван Гог очевидно заметил тень недовольствия, скользнувшую по моей физиономии.

— Понимаете, мне кажется, вещь сделана правдиво. Картина из крестьянской жизни не должна быть надушенной, верно ведь? Я хотел показать, что люди едят свою пищу теми же руками, которыми они трудились на поле, и таким образом честно заработали свой хлеб. Цвет лиц может показаться вам неестественным, но и про Милле говорили, что он пишет крестьян той самой землей, которую они засевают. Для фона я использовал много парижской синей, но мне казалось...

Я поднял руку, прерывая его, сказал, что сам все это вижу. Картина мне нравится, и я готов был бы приобрести ее для своей коллекции.

Имейте в виду, что это была первая его работа, которую кто-то соглашался взять, хотя за его спиной было уже около двухсот тщательных рисунков и двадцать картин маслом. На миг Ван Гог стал бездыханным, потом тихо переспросил:

— Купить? Для вашей коллекции?

Я кивнул.

— Сколько вы за нее назначите?

У него даже задрожали руки, он мучительно нахмурил брови и стал прохаживаться у стола, делая по два шага в одну и в другую стороны. Ему, видимо, не хотелось отдать картину за меньшую сумму, чем она обошлась ему самому, и в то же время он боялся спугнуть меня слишком высокой ценой. Он смотрел в пол, долго что-то высчитывал, шепча про себя, потом поднял голову.

— По-моему, — начал он осторожно, — сто двадцать пять гульденов было бы недорого. Или двести пятьдесят франков.

— Двести пятьдесят?

— Да... Видите ли, я считаю так. — Он заторопился, объясняя. — На работу затрачено примерно месяц, если говорить только о самом полотне. Чтобы месяц существовать, мне нужна примерно половина этой суммы. Остальное — краски и холст. Вы, может быть, думаете, что тут нету наиболее дорогих. Но дело в том, что этот серый цвет составлен...

— Отлично, — сказал я, и поднялся, на сей раз втянув голову в плечи и опасливо посмотрев на потолок. — Я плачу вам тысячу франков.

— Сколько?  
— Тысячу франков.

И тут мы вдруг услышали какое-то шевеление возле окна, а затем отчаянный голос.

— Нет! Так нельзя.

Мы оба оглянулись. Женщина, о которой я совсем забыл, стояла выпрямившись, — ребенок рядом на постели — и глаза у нее сверкали гневом.

— Тысячу франков? Никогда!

Вы понимаете, в чем дело? Эти крестьяне зарабатывали всей семьей франков пятьдесят в месяц — вряд ли больше. Главным для них были хлеб, одежда и топливо, Ван Гог же, который не производил ни того, ни другого, казался здесь просто бездельником. Его занятие представлялось им сплошным отдыхом — ведь карандаш много легче лопаты, которой они ворочали по десять часов ежедневно.

Женщина была оскорблена. Огромная по ее понятиям сумма, которую я предложил за кусок раскрашенного холста, зачеркивала жизнь ее самой, мужа и стариков-родителей.

Впрочем, собственная выходка ее уже смутила. Она побледнела, схватила ребенка и, отвернувшись от нас, принялась нервно его подкидывать, хотя он и так спал.

Интересно, что и Ван Гог был ошарашен. Он покачал головой.

— Нет-нет. Это слишком. Сто двадцать пять гульденов будет довольно.

— Но я хочу заплатить вам тысячу франков. Вот, пожалуйста.

Я вынул из кармана тысячефранковый билет, положил его на стол. Однако художник отшатнулся, как от гремучей змеи.

Черт побери, опять непредвиденная трудность! Идиотизм положения состоит в том, что у меня было с собой только несколько десятков тысячефранковых билетов и какая-то не стоящая упоминания мелочь в голландских гульденах. В Париже нашего времени мне и в голову не пришло, что он спросит так мало и, тем паче, откажется взять больше. Деньги в Европе конца прошлого столетия были очень дороги, и я прекрасно представлял себе, что сейчас в Хогевене никто не сможет заменять такой кредитки.

Я попытался сунуть билет ему в руки, но он оттолкнул его, говоря, что картина, мол, того не стоит, и он не позволит себе обманывать меня.

«Не стоит» — представляете себе! Для меня она стоила

больше, чем в его времени можно было бы выручить и за этот домишко и за весь жалкий городок! Она стояла больше Организованной Энергии, чем было заключено человеческого труда в целой этой провинции Дренте со всеми ее железными дорогами, торфяными болотами, строениями, каналами и полями. «Он не хочет обманывать меня!» — Хотел бы я доказать ему, что получу не в сто раз больше, чем затрачиваю, не в тысячу, даже не в миллион. Что на деньги, вырученные за «Едоков», мы с Кабюсом приобретем сады, воздвигнем дворцы и вообще получим возможности, какие никому и не снились в его глухую нищенскую эпоху. Но заведи я такую речь, и он и женщина сочли бы меня сумасшедшим.

Четверть часа я потратил, уговаривая его, но Ван Гог был тверд, и я в отчаянии свалился на свое сиденье.

— Что же делать?

Тогда он предложил сходить в городишко Цвелоо, где есть ссудная касса и где даже ночью нам смогут разменять билет. До Цвелоо считалось миль девять, как он сказал, и я понял, что уже не успею обратно в Амстельланд на почтовую карету до канала. А это значило, что весь обратный путь до Парижа придется проделывать в ужасающей спешке, чтоб успеть на улицу Виктор к тому моменту, когда приятель будет выдергивать меня обратно в наше время.

Но выхода не было, и мы пошли. На дворе стоял довольно ощутимый холод. Ван Гог накинул мне на плечи свою куртку, говоря, что привык мерзнуть и что ему ничего не станется.

Надолго, не скрою от вас, мне запомнилась эта прогулка.

Когда мы вышли, над горизонтом как раз появился молодой месяц. Около километра мы шагали аллеей с высокими тополями, потом по обе стороны дороги раскинулась равнина, кое-где прерываемая треугольными силуэтами хижин, сложенных из дерна — сквозь маленькое окошко обычно виден был красноватый отсвет очага. В лужах на дороге отражались небо и луна, через некоторое время справа простерлось черное болото, уходящее в бесконечность. Пейзаж весьма монотонный, чтоб не сказать тоскливый, но Ван Гог находил в нем всяческие красоты, на которые указывал мне.

Он был очень воодушевлен своим первым в жизни успехом. Покончив с красотами окружающей местности, он принялся рассказывать о крестьянах, у которых снимает угол, и поведал мне, что эти люди, хотя необразованны и не имеют никакого представления о таких вещах, как искусство, но добры, тактичны и по-своему благородны. Очень он хвалил старуху —

мать молодой женщины, рассказал, что еще совсем недавно она работала наравне с другими в поле и только самое последнее время ее свалила воспалившаяся грыжа — болезнь, которой часто мучаются женщины, вынужденные поднимать большие тяжести. Операция у амстельландского врача, по его словам, стоила целых двести франков, а у старухи было накоплено только пятьдесят, которые она намеревалась оставить после себя на похороны.

Мы шагали и шагали, он заговорил о том, что лишь у шахтеров в Боринаже и здесь у крестьян встретил по-настоящему человеческое отношение к себе — так, например, старуха в отсутствие молодых дала ему однажды миску молока, когда увидела, что он не ел весь день. Да и другие члены семьи вовсе не мешают ему работать, хотя и не понимают смысла и цели его занятий. Вообще в Хогевене ему повезло, так как от восхода и до заката все отсутствуют и даже старуха в солнечные дни выходит с ребенком в сад. Дом в полном его распоряжении — если б ни малые его размеры, он представлял бы собой превосходную мастерскую.

Разделавшись со своим настоящим, Ван Гог перешел к прошлому. Общество так называемых «порядочных людей» отвергло его. В собственной семье, если не говорить о брате Теодоре, среди родственников и знакомых он считается чем-то вроде бродячей собаки. Такого пса нельзя впускать в комнату, потому что он мокрый, взъерошенный, грязный, может наследить на паркете, даже куснуть. Его презируют и говорят, будто он дерзок, скандален, неуживчив и сам добывается одиночества. Ему вменяют в вину, что он всегда отстаивает собственную точку зрения, даже то, что когда какой-нибудь важный господин подает ему, здороваясь, не всю руку, а только палец, он, Ван Гог в ответ поступает также, забывая о разнице в общественном положении. Но это неправда — что он добывается одиночества. Он не заслужил такой пытки. Художнику нужно уединенье, но он, как все люди, нуждается в друзьях, развлечениях, обязанностях и привязанностях. Он хочет быть человеком среди людей, а не изгоем. Даже здесь его не оставляют в покое. Вскоре после приезда местный священник посоветовал ему меньше общаться с людьми, как он выразился, «низшего круга», а когда он, Ван Гог, не послушался, тот запретил прихожанам позировать для рисунков и картин. Поэтому я и был встречен так холодно сегодня вечером — он думал, что меня послал бургомистр.

Он говорил, говорил — опять у меня стало мешаться в го-

лове от этого непрерывного потока слов. Чтобы сбить ему дыхание, я пытался задавать вопросы, но только усиливал словоизвержение. От одной темы он переходил к другой, сюжеты ветвились, порой он уходил в сторону от того, с чего начал, но не забывал первоначальной мысли и обязательно возвращался к ней. Примерно половины того, что он на меня обрушивал, я не понимал, а вторую половину старался пропустить мимо ушей.

Вдруг он замолчал, довольно долго шагал, не произнося ни слова, затем остановился, взял меня за руку и посмотрел мне в глаза.

— Вы знаете, — сказал он тихо и проникновенно, — сегодня был тяжелый день. В такие дни хочется пойти навестить друга или позвать его к себе домой. Но если тебе некуда пойти и никто к тебе не придет, тебя охватывает чувство пустоты и безнадежности. В эти минуты человека может выручить только работа, но по вечерам это для меня невозможно. Я был близок к отчаянию, но вот пришли вы и все перевернули. Вы добрый человек, вы благородный человек. Если даже нам не доведется увидеться в жизни, я всегда буду помнить о вас и в трудные мгновенья повторять себе: «Я хотел бы быть таким, как он».

С этими словами мы двинулись дальше.

Тем временем километр за километром оставались позади, а Цвелоо все не было видно. Когда мы только выбрались из духоты крестьянского дома на свежий воздух, я глубоко вздохнул несколько раз, прочистил легкие и опять почувствовал себя крепким, готовым на все. Снова, как в Париже, каждый тренированный мускул играл, при каждом шаге оставался неизрасходованный запас энергии, и я даже сдерживал себя, чтоб не обогнать низкорослого спутника.

Из-за нереальности этой ситуации — я в XIX веке ночью, в степи — мне делалось смешно. Думалось о том, что вот я шествую рядом с Ван Гогом, которому суждено позже стать гением и всякое такое. О нем будет написано множество книг, прочитано бесчисленное количество докладов, и одних только диссертаций искусствоведы защитят не меньше трех сотен — а ведь каждая означает немалую сумму ЕОЗнов в виде доплаты к зарплате. Все это так, а вместе с тем он маленький и хилый, я же большой, сильный, ловкий. Захоти я дать ему в ухо, никто в мире не помешает мне, он отлетит, пожалуй, шагов на десять, несмотря на свое будущее величие, и вряд ли сразу поднимется.

Но эта чертова дорога оказалась не такой уж легкой. По-

нимаете, одно дело, когда ты пробегаешь стометровку по специальной эстроновой дорожке в комфортабельном спортивном зале или когда вышагиваешь по туристской тропе — на тебе пружинящая обувь и почти невесомая одежда, которая не стесняет движений. Тут же я был наряжен, как чучело, а тяжеленные ботинки висели на ногах, словно колодки.

Не знаю, существовало ли там какое-нибудь покрытие на той дороге, во всяком случае начало пути мы проделали по грязи. Потом подморозило, грязь чуть затвердела, начала проминаться под подошвой, идти стало повеселее. Однако еще позже грязь затвердела совсем, но сохранив при этом все неровности. Сделалось невозможным удобно ставить ногу при шаге — то проваливается носок, а пятка оказывается высоко, то наоборот. Миновал час, я взялся высчитывать, сколько же это будет километров — девять миль. У меня было впечатление, что миля меньше километра. Затем вдруг я вспомнил где-то мне попавшуюся таблицу перевода старинных мер длины в наши и весь покрылся холодным потом. В одной миле тысяча шестьсот девять метров. Всего, значит, до Цвелоо километров пятнадцать, а за нами пока осталось меньше половины! Постепенно кураж начал покидать меня, тщеславные мечтания улетучивались. Еще через час я еле волочил ноги, совершенно раскис и размяк.

А Ван Гог по всем признакам был свеж, как огурчик. После недолгого молчания он опять заговорил, то и дело останавливался, чтобы полюбоваться звездами или всмотреться на горизонте во что-нибудь такое, чего я и разглядеть не мог, бегом догонял меня, отходил в сторону, пробуя, как вспахана земля, и так далее. Ему подобные концы были, видимо, впривычку, он, может быть, ежедневно проделывал еще больший путь с мольбертом в одной руке и тяжелым ящиком с красками в другой. И вскоре я сообразил, что стукни я его действительно по уху, в сторону отлетел бы скорее кто-нибудь другой, а не он.

Не помню, как уж мы добрались до этого городишки, где я представил Ван Гогу все хлопоты, а сам уселся на ступени у входа в ссудную кассу, вытянув гудящие и горящие ноги.

Обратный путь был еще ужаснее. При свете звезд, поскольку луна зашла, Ван Гог вгляделся в мое лицо, участливо осведомился, здоров ли я, и предложил опереться на его плечо. Так я и сделал, он, можно сказать, почти доволоч меня до дому.

Хижина оказалась пустой, хотя и натопленной — хозяйева

ушли ночевать к родственникам. Старухина постель сияла свежими простынями, хотя, впрочем, для данного случая это слишком сильное выражение. Простыни ведь тогда служили целыми десятилетиями, их стирали после того, как пользовались некоторое время — без мыла, а только в проточной воде. Ван Гог сказал, что это для меня, а сам улегся на деревянной скамье. Но, во-первых, на короткой кровати мне пришлось сложиться чуть ли не в восемь раз, а, во-вторых, мучили голову спертый воздух, всяческие запахи, мешали скрип и шевеленье за стеной, где в хлеву помещалась корова. Из-за духоты мне делалось дурно, я несколько раз выходил на улицу, но там моментально замерзал. Забыться удалось только под утро, но в семь часов Ван Гог заботливо разбудил меня, поскольку помнил, что мне надо в Амстельланд на дилижанс.

Позавтракали миской молока, что была, вероятно, пожертвована той же старухой. Ван Гог всколыхнул замечание, что попробует поговорить с доктором относительно операции — слова, которым я напрасно, как позже выяснилось, не придавал значения. «Едоков картофеля» он положил на стол, рылся затем несколько минут в своих рисунках, вынул два больших и сказал, что дарит их мне. То были «Хогевенский сад» и «Степь с деревьями» — оба пятьдесят сантиметров на сорок. И, вы знаете, я не взял. То есть у меня не было сомнений, что за каждый заплатят по две тысячи, но я представил себе жадную рожу Кабюса и решил, что такого дополнительного удовольствия этому жулику не доставлю. Пусть лучше вещи не будут исключены из истории искусства на целое столетие. Художнику я объяснил, что рисунков не коллекционирую, и получится правильное, если они достанутся тому, кто их оценит по-настоящему.

Я был совсем разбит, развинчен — в пору брать руками каждую ногу в отдельности и переставлять. Ван Гог, видя мое состояние, разволновался, побежал в деревню и вскоре вернулся, с торжеством объявив, что уговорил одного крестьянина подвезти меня три четверти пути — понимаете, с транспортом было в этот момент очень нелегко, шли весенние полевые работы. Через десять минут появилась скрипучая телега, влекомая парой тощих мослатых лошадей, на которую я себя и погрузил — блистательное завершение для всех моих гордых мыслей, не правда ли?

К первым домишкам Амстельланда мы добрались около восьми. Ван Гог шагал рядом с повозкой и нес картину. Когда возница уже должен был поворачивать в сторону, мне пришлось едва ли не по частям вынимать себя из телеги. Солнце

поднялось над горизонтом, но было скрыто тучами, и в западной части неба мерцали звезды. Ван Гог показал на одну из них, лицо его было мягким и задумчивым.

— Посмотрите, какая она спокойная, прекрасная и добрая. Иногда мне кажется, что звезды связаны между собой таинственными отношениями, о которых мы и не подозреваем. Что их хороводы влияют на нашу судьбу, а сами далекие светила следят за нами и радуются, если мы поступаем добро.

Потом он повернулся ко мне.

— Знаете, я поздно начал рисовать. В двадцать восемь лет восприятие не так свежо, а рука не так перемчива, как в детстве. Другие в моем возрасте уже владеют школой, выработали свою манеру и даже находятся в зените славы, а я еще только учусь. Поэтому мне не следует питать иллюзий относительно себя, я еще долго буду одинок и никем не признан. Но вы помогли мне, и теперь я верю, что если человек хранит симпатию к людям и трудится, не переставая, он должен добиться своего...

Темная торфяная низменность раскинулась вокруг нас, утопавшая в грязи дорога уходила к горизонту, и мы помолчали.

В Париж к месту вызова я поспел вовремя. Из Камеры вывалился прямо на Кабюса, разговаривать с ним не стал, дополз до такси на карачках и полуживой — к себе, пробыв, таким образом, в прошлом столетии всего неделю.

Но, как вы понимаете, бодрящие ванны, суг-массаж и всякое прочее делают чудеса. Отмылился, отскребся, оттерся, проспал восемнадцать часов на воздушном матрасе слабой вибрации, и на утро вторых суток почувствовал себя человеком. Теперь уверенность в успехе у меня была полная.

Наклеил этикетки провинциальные усишки, напялил длинные штаны чуть ли не до колен и двинул в художественный салон. Но не на бульвар Сен-Мари, где меня все же могли узнать, а в другой, на Монмартре. Вхожу, напускаю на себя простецкий вид и жду, пока меня заметят.

Заметили, спрашивают, что мне угодно.

— Да, так, — говорю, — был у тетки под Антверпеном, па чердаке попалась картина. Вроде какая-то старая. Изображено, как люди в древности ели картошку. — Сам разворачиваю картину и поворачиваю к свету. — Тут подписано «Винсент Ван Гог». Мне художник не известен, скорее всего современный этого как его... Леонардо да Рафаэля. Вот я и подумал, что, может быть, кто заинтересуется.

Ожидаю услышать возгласы удивления, радости, но присутствующие глядят на меня с иронией. Один из продавцов берет картину в руки.

— Да, в самом деле подписано «Ван Гог». Пожалуй, такому сюжету подошло бы название «Едоки картофеля».

Чешу в затылке, отвечаю, что и сам бы ее так назвал.

Продавец поворачивает вещь обратной стороной к себе.

— Смотрите, тут и дата проставлена. «Март 1883». Все точно, как в его письмах к брату, — первый вариант известнейшего произведения.

— Неужели? — спрашиваю. — Я даже как-то не посмотрел с той стороны. — Значит, 1883 год. Выходит, что он жил раньше этого да Леонардо.

Второй продавец берет «Едоков» из рук первого и протягивает мне.

— Возьмите. Не стоит даже проверять на подлинность. Этой картины не существует. Есть только копия, сделанная по памяти в 1888 году.

— Как не существует? С чего же он тогда делал копию?

— А вы почитайте «Письма». Можете у нас приобрести экземпляр... Эй, куда же вы! Послушайте, у вас левый ус отклеился!..

Дома хватаю свой том «Писем», начинаю судорожно листать. Вот, пожалуйста, январь 1883-го.

«Дорогой Тео, никогда я еще не начинал год с более мрачными перспективами и в более мрачном настроении. На дворе тоскливо: поля — черный мрамор с прожилками снега; днем большей частью туман, иногда слякоть; утром и вечером багровое солнце... черные кусты на фоне пасмурного неба и ветви тополей жестки, как железная проволока...»

Дальше, дальше! Это я все знаю.

«...Боюсь, что я сделался для тебя уж слишком тяжелым бременем. Злоупотребляю твоей дружбой, постоянно прошу денег на то, что, может быть, никогда не принесет плодов. Горько думать о себе, что ты неудачник, и временами...»

Дальше! Где-то здесь должно быть упоминание о будущей картине... Ага, вот оно! Картина уже готова.

«Дорогой Тео, поздравляю тебя с днем рождения и от всей души желаю здоровья и счастья. «Едоки картофеля» закончены, картина уже высохла, послезавтра посылаю ее тебе. Надеюсь, ты поймешь, что я хотел в ней выразить...»

Это было написано 3-го апреля, а на другой день к Ван Гог у постукался незнакомец, то есть я, и купил «Едоков».

Значит, в следующем письме будет отчет об этом великом событии.

Я чуть помедлил, прежде чем перевернуть страницу. Перевернул, вчитался...

«Тео, я сжег картину!»

Это произошло три дня назад. Вдруг пришла минута, когда я понял, что не был в этой вещи до конца самим собой. Труд целой зимы пропал, я сожалею о своем поступке, но, правда, не очень, так как многому научился в ходе работы. В частности, добиваться того, чтобы красно-желтый цвет смотрелся светлее, чем белый, который я стал делать, смешивая, скажем, парижскую синюю, киноварь...»

Потом идет о красках, а затем такие строчки:

«У нас в домике радостное настроение. Я не писал тебе, что мать моей хозяйки, пожилая женщина по имени Вильгельмина, тяжело болела последнее время. Так вот, недавно ее удалось устроить на операцию...

Было еще одно весьма странное и отрадное происшествие, о нем я расскажу тебе при встрече, когда ты, как было обещано, приедешь навестить меня. Кстати, до этого времени можешь не посылать денег. Я сумел сэкономить, у меня осталось еще около ста франков из тех трехсот, что я получил от тебя на февраль и март».

Вы понимаете, что сделал этот филантроп? Проводив меня в Амстельланд, он зашел к тамошнему доктору и, чувствуя себя богачом, отдал двести франков на операцию для старухи. Скорее всего импульсивно. Затем возвращается домой, и ему приходит в голову, что он, живущий целиком на содержании брата, не имел права так поступить. Ван Гогу делается стыдно. Он чувствует, что не может написать Теодору, что истратил первые заработанные им деньги, и, объясняя, почему не выслана картина, он сообщает, что уничтожил ее. Но при этом оставляется лазейка: «Расскажу тебе при встрече». Скорее всего, он и рассказал все Теодору, когда они увиделись, однако разговор не вошел в историю искусства, остался нигде не зафиксированным...

Что вы говорите? Не слишком честно по отношению ко мне... Да, может быть. Но имейте в виду, что история с этим обманом самому Ван Гогу казалась эпизодом, касающимся исключительно только его и брата. Пусть в письме неправда, но при личной встрече он откроет, как было в действительности, и вопрос снят. Он ведь и представления не имел, что история сохранит его послания, что каждая строчка, которую при свете

керосиновой лампочки он царапал на шершавой серой бумаге, переведется на шестьдесят языков и выйдет в бесчисленном количестве книг, да таких шикарных, каких ему не доводилось и в руках держать.

Он солгал, потом — я в этом уверен — признался, и конец. Но для меня-то все обернулось иначе — попробуй, докажи, что предлагаешь подлинную вещь, когда в письме черным по белому значится «сжег».

Однако, если вы думаете, что я приуныл, это не так. В конце концов наскоком люди не становятся миллиардерами. Прикинул, что Временные Петли действуют около двух лет, но пока не слышно, чтоб неожиданно возникали крупные состояния. Ладно, говорю себе, кончился этап бесшабашного приступа, начинаю планомерную осаду. У меня есть возможность путешествовать в прошлое, да к тому я стал специалистом по Ван Гогу. Ослом надо быть, чтоб не использовать сложившихся обстоятельств. На ошибках учимся.

Пошел прежде всего к Кабюсу, объяснил, в чем дело и потребовал, чтоб мы снова сняли Петлю. Он в панике, плачет, что многим рисковал, теряет последние сбережения. Стал жаловаться, что, мол, жена ждет, пока он разбогатеет, бросит работать. Действительно, он как раз в это время женился на тощей, словно телевизионная башня, деве по имени Марш с подозрительным и злым взглядом. Сказал, что лучше бы ему сговориться с кем-нибудь другим, поскольку со мной, вероятно, ничего не выйдет. Я ответил, что сам могу столкнуться, с охранником например, который пропускал нас уже три раза и несомненно в курсе всего. Кабюса это привело в чувство, и мы сделали, как я сказал. Понимаете, завиток-то мне нужно было сдернуть, чтоб «Едоки» Ван Гога опять появились в мире. Ведь чем больше известно его картин, тем ярче слава и дороже будет привезенное мною. Кроме того, хотелось, чтобы первое посещение перестало существовать — он начнет еще что-нибудь спрашивать, я не буду знать, как отвечать, и в таком духе.

Теперь уж я решил вооружиться по-настоящему. Связался прежде всего со швейцарской фирмой «Альпенкляйд», которая, помните, создала новую одежду для альпинистов — человека обливают составом, образуется пленка, через нее кожа дышит, помехи движениям нет, и при этом можно хрястнуться в тридцатиметровую пропасть, не получив даже синяка. Пленка гнется на суставах только в определенных направлениях и при этом тверда, как сталь. Панцер-Кляйдунг, или «ПК», име-

ла большой успех, а после они приступили к выпуску «ТК», то есть термической одежды. Ткань сделана из специальных нитей, а энергия берется от цезиевой батарейки размером в спичечный коробок, которая укрепляется на поясе. Надел, поставил, допустим, на пятнадцать градусов, а дальше хоть трава не расти, потому что регулировка происходит автоматически — в ветреную холодную погоду нити согревают, в жару наоборот, и вокруг тебя постоянный климат. Начала фирма с производства туристской одежды, поэтому мне пришлось послать в Цюрих образцы того, что мне надо было... Ну, запасся, естественно, всякими снадобьями против клопов с блохами, деньгами — не только тысячефранковыми билетами, а и помельче, — запасными батарейками. Заказал из искусственных алмазов кольцо на старинный манер — хотелось проверить, как отнесутся к нему парижские торговцы драгоценностями конца прошлого века.

Интересно было готовиться. Прежние махинации я совсем забросил, в Институт заглядывал довольно часто и там прилежкался. Встретишь в пустом коридоре какого-нибудь согбенного седобородого академика: «Здрассте — здрассте, как дела? Да, ничего, спасибо». Я иду своей дорогой, он семенит своей — вроде так и надо. Только, бывает, оглянется с легким недоумением, сам смутится этой оглядки и на другой раз первым кидается здороваться, пока ты еще рта не успел раскрыть.

Кабюс возился с замещением энергии, а я почитывал материалы по той эпохе. Задача, собственно, осталась прежней, только я намеревался принять меры, чтобы покупка обязательно отразилась в переписке.

Но вот настает долгожданный день, вернее, вечер. Толстяк охранник в вестибюле понимающе подмигивает нам, и я влезаю в Камеру. Мною был теперь избран июнь 1888 года. Художник живет в небольшом городке Арле на юге Франции, и к нему еще не приехал Гоген — я догадывался, что после появления друга Ван Гогу будет не до меня, да и вообще не хотел быть свидетелем драматических событий, которым вскоре надлежало развернуться. План мой был таков. Одну картину покупаю у Теодора в Париже, но так, чтобы он Винсента попросил прислать ее из Арля. Затем еду к самому художнику и там устраиваю такую же штуку. Мол, то, что я вижу, меня не устраивает, пусть он напишет брату относительно одного-двух полотнищ из старого. В результате в обе стороны полетят запросы, подтверждения, все будет включено затем в «Письма», ситуация с «Едоками» не повторится.

Путешествие мы с Кабюсом рассчитали на три недели. Побывал я на Монмартре, посмотрел в той первой «Мулен-Руж» их прославленную танцовщицу Ла Гулю, которую Тулуз-Лотрек рисовал, о которой стихи сочиняли — так, ничего особенного...

Показал в ювелирном магазине кольцо, его без звука взяли за десять тысяч. Было общее впечатление дешевости всего и в первую очередь человеческой жизни. Ну какое тогда могло быть население в Париже — не больше полмиллиона. Хотя, что я говорю... не больше четверти. И тем не менее люди вели себя так, будто их наплодилось слишком много, и они никому не нужны. Во всяком случае, в городе. Молоденькая девчонка на улице идет за богатым стариком по первому знаку. Беседуешь с кем-нибудь, и если он чувствует, что у тебя полный карман, только и смотрит, чтобы успеть согласиться с твоей мыслью сразу, как только она будет высказана.

Ощущается недостаток во всем — в пище, одежде, жилье, недостаток энергии на Земле. Разговоры такие, что за пять тысяч можно купить любого модного журналиста, за пятьдесят — важного государственного деятеля. Скромные и честные люди сидят, вероятно, где-то у себя, не лезут вперед, а те, что на виду, крутятся, вертятся перед глазами, торопятся схватить, вырывают друг у друга из рук, как будто знают, что всего мало, на всех не хватает, что если сейчас пропустишь, потом ничего не попадется. А из известных только крупные писатели, художники, ученые, философы ведут свою прямую, как луч света, линию в этой спешке и суете.

Тут же выяснилось, что в программе приобретения картин придется переставить компоненты. Я хотел начать с Теодора, который, как мне было известно, в это время получил место директора художественной галереи в фирме «Буссо и Баллон». Пошел туда, но его не оказалось — как раз уехал к Иоганне свататься. Из ван-гоговских вещей там висело только «Хлебное поле» — и то в самой глубине последнего зала, в углу. Я ее потрогал со странным пиететом, она была слегка запылена. Не знаю, чем объяснить свое чувство. Почему-то возможность прикоснуться к картине, на которую никто и внимания не обращал в 1888 году, представлялась мне более ценной, чем личное общение с ее создателем.

На третий день пошел на Орлеанский вокзал, сел в поезд. До Арля тащились со скоростью двадцать километров в час. Стояла жарница, по я в своей «ТК» благодушевствовал. Разговаривал с соседями, смотрел в окошечко. Прекрасное место

все же — Франция, поля, виноградники, рощи в ту пору выглядели ничуть не менее живописно, чем сейчас. Остались позади Невер, Клерман, Ним. В восемь утра вторых суток пересекли Рону...

Понимаете, мне было, конечно, ясно, что Ван Гог переменился за те пять лет, что разделили городок Хогевен и Арль. Я-то метнул себя тогда из прошлого в комфортабельный 1995-й, а он остался на торфяной равнине, в холоде и нищете, чтоб продолжать жестокую борьбу. И продолжал. Из Хогевена, гонимый одиночеством, он переезжает в Нюэнен. Ему страстно хочется, чтоб у него была подруга, семья. В то время, как многие в ту бедную эпоху боятся иметь детей, он пишет брату, что боится не иметь их. Еще раньше была история с уличной женщиной, больной, беременной, которую он взял к себе, чтоб ее перевоспитать. Но из этого ничего не вышло, только прежние знакомые окончательно от него отвернулись. Теперь в Ван Гога влюбляется дочь соседей по Нюэнену Марго Бегеманн. Винсент тоже любит, но родители запрещают Марго встречаться с ним, и девушка принимает яд. С надеждой на личное счастье покончено, остается только искусство. Ван Гог отправляется в Антверпен, чтобы попасть в среду художников. Нет мастерской, он работает на улицах. Не на что нанимать натурщиков, он договаривается, что сначала нарисует чей-нибудь портрет, — моряка, солдата, уличной девушки — а потом в качестве гонорара сделает этюд уже для себя. Письма к брату пестрят выражениями: «*Misère ouverte!* Ради бога пришли хоть столько, сколько сможешь уделить. Я буквально голодаю». От постоянного недоедания у него пропадает аппетит, и порой, получив от Тео небольшую сумму денег, он не может есть. Ван Гог удается поступить в Академию художеств, но через три месяца его вынуждают покинуть ее стены — рисунки Винсента решительно непохожи на то, чему учат преподаватели. Несколько поправляются дела у Теодора, он дает брату возможность приехать в Париж. Однако и здесь ничего не меняется. Винсент начинает учиться в мастерской Кромона, но за исключением Тулуз-Лотрека никто не подходит посмотреть, что у него получается. Окружающим он кажется сумасшедшим, когда в самозабвении бросает краски на картину с такой энергией, что дрожит мольберт. Его молчаливая дикая страстность отталкивает молодых и беззаботных художников. За два года в столице Франции Ван Гог создает более двухсот картин — это к тем двум сотням, что были написаны в Голландии, — но каждая выставка для него провал,

и до сих пор не продано ни единое полотно, подписанное его именем. Решив, наконец, что Париж не принял его, Винсент измученным уезжает в Арль.

Повторяю, я знал и это, и то, что художник просто поставил. Правда, в наше время у человека в этом возрасте как раз прибавлялось здоровья. В 1996 году люди в период от тридцати до тридцати пяти или сорока лет обычно молодели и довольно заметно. Понимаете, личность окончательно узнает, на что способны ее разум и тело, возникает уравновешенность, духовная и физическая гармония.

Не приходилось сомневаться, что с Ван Гогом будет иначе, да было и много автопортретов той поры. Но все равно я не ожидал такого, разыскивая дом и поднимаясь в комнату, которую он снимал.

Над ним пять лет пронеслись, подобно раскаленному ветру, и выжгли в его внешности все молодое. Он сильно изменился, страшно. Был не тот, совсем не тот, кто в уже исчезнувшем варианте провожал меня утром в Амстельланд.

Ван Гог сидел за мольбертом, он нехотя поднялся, держа в руках палитру и кисть.

Его волосы, редкие уже тогда, отступили назад, совсем обнажив выпуклый лоб. Глубокие прорезанные морщины шли от крыльев носа к кончикам рта, щеки совсем провалились, азиатские скулы стали острее, придавая его лицу что-то жестокое, фанатичное. Борода и усы были запущены, видимо, он перестал следить за своей внешностью. В глазах, которые смотрели на меня из-под нахмуренных бровей, читалось упорство отчаяния.

Я сказал, что хотел бы познакомиться с его картинами и готов купить что-нибудь.

Недовольный тем, что его оторвали от работы, — перед ним на маленьком столике был натюрморт с подсолнухами в майоликовой вазе — он постоял, как бы приходя в себя, швырнул на подоконник кисть с палитрой, вынул из стеллажа несколько холстов, натянутых на подрамники, раскидал их по полу и отошел к раскрытому окну, сунув руки в карманы.

Я, честно говоря, не ожидал этой холодности. Мне думалось, он примет меня за благодетеля, станет, как в предшествующее уничтоженное посещение, уговаривать, объяснять. Но ничего такого не было. Он начал тихонько насвистывать какой-то мотив, оборвал и принялся затем постукивать пальцами по раме. Я заметил, что он стал теперь шире в плечах, каким-то более жилистым и жестким. Казалось, что если он

ударит, то окончательно и насмерть. При этом он, правда, не огузил, и спина осталась деревянно прямой.

Ван Гог повернулся неожиданно, перехватив мой взгляд, и я опустил глаза к полотнам. Смотреть, собственно, мне было нечего, я их и так знал.

— Ну, что же? — спросил он. — Не нравится?.. Тогда, как угодно.

— Нет, нет, — ответил я. — Выбор сделан. — Это вырвалось у меня непроизвольно. Вдруг почувствовал, что не могу мурлыкать его тем, что здесь закажу вещь, хранящуюся у брата, а уже из Парижа попрошу прислать что-нибудь из того, что он мне сейчас показывает.

— Выбрали?.. Какую же?

Я показал на «Сеятеля».

— Вот это?..

Он взял подрамник обоими руками, перенес ближе к свету, поставил на пол у стены и вгляделся. Лицо его потеплело, как у матери, которая смотрит на собственное дитя. Затем он отвернулся от картины и сказал с вызовом.

— Я ценю свои вещи не слишком уж дешево. Например, эта стоит тысячу франков. Правда, немногим дороже кровати, за которую спрашивают семьсот и которой у меня нет.

Тут только я заметил, что в комнате нет кровати. В углу валялся свернутый матрас.

Он расценил мое молчание по-своему и горько усмехнулся.

— Да, некоторые воображают, что занятия живописью ничего не стоит самому художнику. На самом деле с ума можно сойти, когда подсчитываешь, сколько надо потратить на краски и холст, чтоб обеспечить себя возможностью непрерывной работы на месяц. Вы не думаете, я надеюсь, что такая вещь создается без размышлений, без поисков, без предварительных этюдов. Когда человек способен написать картину за три дня, это вовсе не означает, что лишь три дня на нее и потрачено. Истрачена целая жизнь, если хотите. Садитесь за мольберт, если вы мне не верите, и попытайтесь гармонизировать желто-красный с лиловым. Конечно, когда композиция готова, то, что на ней есть, может показаться само собой разумеющимся. Так же говорят о хорошей музыке либо о хорошем романе, которые будто бы обладают способностью литься сами собой. Однако представьте себе положение, когда ни картины, ни симфонии еще нет, когда их надо еще создать, а композитор или живописец берется за труд, отнюдь не уверенный, что избран-

ное им сочетание вообще в принципе возможно... Одним словом, тысяча, и разговаривать больше незачем.

Я откашлялся, чувствуя невольную робость, и сказал, что цена мне подходит.

— Подходит?.. И вы готовы заплатить?

— Да.

— Заплатить тысячу франков? — Некоторое время он смотрел на меня, затем пожал плечами. — Почему?

— Ну как?.. Вы спросили тысячу. Вещь мне нравится.

Он прошелся по комнате и остановился у картины.

— Да, ей отдано много. — Затем в глазах его появилась тревога, мгновенно сменившаяся гневом. — Скажите, это не шутка? Здесь есть любители развлечься. Если вы пришли за этим, мне некогда. Я работаю.

— Ни в коем случае. — Я подошел к столику возле мольберта, вынул из кармана бумажник, отсчитал десять стофранковых билетов. И, скажу вам, это были не те деньги, что я привез из будущего, а полученные мною в ювелирном магазине. С привезенными, хотя вероятность была ничтожна, могла все же получиться неловкость. В конце концов они представляли собой дубли кредиток, существовавших здесь, в 1888-м, и не исключалась ситуация, при которой одинаковые номера окажутся рядом. Правда, экспертиза в этом случае стала бы втупик, поскольку оригиналами были и те и другие. Так или иначе, мне не хотелось подвергать Ван Гога риску, ему хватало собственных невзгод.

— Кроме того, — сказал я, — меня заинтересовала еще одна вещь в Париже, в галерее Буссо. «Цыганские повозки». Если вы сообразоволите написать письмо, чтоб ее прислали, я мог бы подождать здесь, в Арле.

Опять был вынут бумажник, и я отсчитал еще пятьсот.

Подозрение на его лице постепенно сменилось недоумением, а затем растерянностью. Он несколько раз перевел взгляд с меня на деньги и обратно.

— Слушайте! Кто вы такой?

Я был подготовлен к этому вопросу и стал плести, будто действую не от себя, а по поручению богатого негоцианта из Сиднея, моего дяди. Негоциант дважды был в Париже — в прошлом и позапрошлом годах — имеет там знакомых художников, много слышал о самом Ван Гогге и о его брате. Ему известно, что публика пока не признает новое направление, но у него свой вкус.

— Как его имя?

— Смит... Джон Смит. Дело в том, что дядя скромный человек. Он даже заглядывал в мастерскую Кромона, был на «Выставке Малого бульвара», но вряд ли к вам подходил.

— Не помню.— Ван Гог покачал головой.— Джон Смит... Ну, ладно.— Он подошел к столу, нерешительно взял деньги, выдвинул ящик и положил туда. Посмотрел на меня, и этот взгляд, неожиданно робкий, на миг напомнил мне прежнего Ван Гога. Он отвернулся к стене, голос его звучал глухо.— Как странно. О таком я мечтал долгие годы — писать и иметь возможность зарабатывать этим на жизнь. Вот оно пришло, и я не могу обрадоваться. Но почему?

Он потрянул головой.

— Я сегодня же напишу в Париж. А теперь извините... Вы, наверное, остановились в «Сирене». Мы могли бы увидеться вечером.

Городишко был пуст, солнце разогнало всех по домам. Я снял себе комнату в гостинице как раз над тем самым залом, который Ван Гог вскоре должен был изобразить на картине «Ночное кафе». Несколько часов провалялся на постели, отгоняя от себя мух, и когда жара спала, спустился на первый этаж.

Ван Гог сидел неподалеку от винной стойки. Я подошел. Вид у него был ожесточенный, он злобно ковырял вилкой в тарелке с макаронами.

Я спросил, как здесь готовят, и он гневно отбросил вилку.

— Понимаете, мне долго пришлось жить нерегулярной жизнью, у меня вконец испорчен желудок. Если бы я ел хороший, крепкий бульон, я бы поправился. Но тут, в городских ресторанах, никогда не получишь того, что тебе надо. Хозяева ленивы и готовят только не требующее труда — рис, макароны. Даже когда заказываешь заранее, у них всегда есть отговорка, что забыли или что на плите не хватило места. И постоянно обсчитывают. Сначала я жил тут, наверху, за месяц с меня потребовали на двадцать франков больше, чем следовало. Но ведь я не богатый бездельник. Я работаю больше, чем все они тут, с моей стороны было бы безволием позволить себя эксплуатировать. Я пошел к мировому судье, и он приговорил двадцать франков в мою пользу. Но все равно мошенничество продолжается — не станешь ведь обращаться в магистрат из-за каждых пятидесяти сантимов. В результате я полтора месяца обходился без матраса и был вынужден приходить ночевать сюда, хотя уже снял себе комнату... Вообще в Арле считают своим долгом обманывать каждого чужого.

Особенно, если ты художник, тебя считают либо сумасшедшим, либо миллионером. За чашку молока дерут целый франк.

Я заказал вина. Хозяин, толстый, с одутловатым белым лицом, принес его только минут через пять. Ресторан постепенно наполнялся. За столиком, где собрались игроки в карты, началась пьяная ссора.

Ван Гог презрительно усмехнулся.

— Человечество вырождается. Я сам прекрасное подтверждение этому — в тридцать пять лет уже старик. Понимаете, одни работают слишком много — крестьяне, ткачи, шахтеры и бедняки вроде меня. Этих гнетут болезни, они мельчают, быстро старятся и умирают рано. А другие, как вот те, стригут купоны и деградируют от безделья. Но так не может продолжаться. Слишком много тяжелого сгустилось, должна грянуть гроза. Хорошо хоть, что некоторые из нас не дали себя одурманить фальшью нашей эпохи. Это поможет грядущим поколениям скорее выйти на свободный, свежий воздух.

Мы выпили, и он осмотрелся.

— Интересно, кто придумал сделать здесь эти красные стены. Комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдом посередине. Получается столкновение наиболее далеких друг от друга оттенков. Иногда мне кажется, что тут можно сойти с ума или совершить преступление... В человеке намешано так много. Хотелось бы все это выразить, передать, но теперь я боюсь, что не успею. Ваш дядя знает, как существуют непризнанные художники в Париже. Я нажил там неврастению. Бывает, что с утра не можешь взяться за кисть, пока не выпьешь крепкого кофе и не накуришься. Но искусственного подъема хватает ненадолго, снова кофе и трубка, периоды работы все уменьшаются, приходишь к тому, что каждая новая чашка дает тебе один-единственный мазок... Страшная штука — плохое здоровье. Из-за него я не встаю больше против установленного порядка. И не потому, что смирился — просто сознаю, что болен, что нет сил и они уже больше не придут.

Я расплатился за вино, мы встали и, разговаривая, прошли через город к полям. Дорогой он сказал, что уже отправил письмо и что если оно застанет брата на месте, посылка с картиной прибудет через шесть дней.

Солнце спускалось, перед нами было море пшеницы, а справа зеленели сады.

— Конечно, сейчас мне прекрасно работать, — сказал Ван Гог. — Это все благодаря брату. Никогда раньше я не жил в

таких условиях, и если ничего не добьюсь, это будет только моей виной. Здесь удивительно красивая природа. Посмотрите, как сияет небосвод... И вот зеленовато-желтый дождь солнечных лучей, который струится и струится сверху на все. А кипарисы с олеандрами какие-то буйно помешанные. Особенно в олеандах немислимо закручена каждая веточка и группы ветвей тоже. У меня два раза было, что, выбравшись на этюды, я терял сознание от нестерпимой красоты.

Ван Гог позволил себе отдохнуть в тот вечер, мы еще долго бродили. Часто он совсем забывал о моем присутствии, затем, вспомнив, обращался ко мне с каким-нибудь малозначительным замечанием, задавал вопрос и не выслушивал ответа, углубляясь в себя.

Вообще в нем была теперь какая-то отрывистая гордость, чуть презрительная и разочарованная. Как будто он знал себе цену, но потерял надежду убедить мир в чем-нибудь. Тогда в Хогевене Ван Гог не был уверен, что его произведения хороши, но полагал, что упорный труд позволит ему добиться успеха. В Арле стало наоборот. Он твердо знал, что стал настоящим художником, но уже не верил, что его когда-нибудь признают. Он очень легко раздражался; излечению его неврастения отнюдь не способствовали стычки с квартирной хозяйкой, владельцем ресторана, зеваками, что тотчас собирались вокруг, если он принимался набрасывать рисунок где-нибудь в городе. Мне кажется, окружающие даже несколько побаивались его.

Правда, получив от меня крупную по тем временам сумму, он начал оттаивать и меняться удивительно быстро. Купил себе кровать — правда, не за семьсот, а подешевле, за четыреста франков. Нанял женщину, которая стала готовить ему. В глазах появилось что-то теплое, щеки порозовели, он перестал отвечать взрывами бешенства на мелкие уколы со стороны. И продолжал работать. Работать с ожесточением, какого я отродясь и не видел. С утра ящик с красками в одну руку, подрамник в другую, мольберт за спину, и на этюды. А если был дома, то писал. В комнате его можно было увидеть только с палитрой и кистями, как будто он не спал, не ел вообще ничего. Сознывая, что начал поздно, он стремился сжать, вместить в год или два то, на что у других уходит долгая творческая жизнь.

Посылка от брата, между тем, все не шла. Из Парижа сообщили, что письмо Винсента направлено в Антверпен, но получилось, что оно попало туда, когда адресат выехал. Мне ос-

тавалось только ждать, от скуки я несколько раз увязывался с Ван Гогом в его походы. Исполдволь я начал ему симпатизировать, мне хотелось исправить некоторые уж слишком очевидные недостатки в его манере писать. Но из этого ничего не вышло.

Однажды, например, я сказал, что роща на заднем плане его этюда вовсе не такова по цвету, какой он ее сделал, и что никто никогда не видел таких, как у него, завинченных деревьев и завинченных облаков.

Он спросил, выпадает ли роща из общего фона того, что он делает. Когда я признал, что из его фона не выпадает, он объяснил:

— Начинаешь с безнадежных попыток подражать природе, все идет у тебя вкось и вкривь. Однако наступает момент, когда ты уже спокойно творишь, исходя из собственной палитры, а природа послушно следует за тобой. Разумеется, в любой моей вещи есть промахи, но зато я твердо знаю, почему я пишу так, а не иначе. Я могу быть не уверен в своей технике, но у меня всегда есть жизненность, которая, по-моему, должна отодвигать ошибки на задний план...

Наконец, на исходе второй недели, когда я уже начал дрожать, Ван Гог разыскал посланный с почты мальчишка. Пять сотен франков были присоединены к первым полутора тысячам, и вечером мы отправились в «Сирену». Ван Гог был очень оживлен, показал мне письма от Гогена, сказал, что ожидает его теперь в Арль. Он спросил, нет ли среди моих друзей и знакомых дяди такого человека, который тоже заинтересовался бы произведениями импрессионистов. Я ответил, что это не исключено, и глаза его зажглись. Он заговорил о том, что если бы удавалось продавать хотя бы по три картины в год, он мог бы обеспечить не только себя — ему лично не надо так много, — но снять маленький дом, где найдут приют и другие бедствующие художники, которые нередко гибнут от нищеты, кончают с собою или попадают в сумасшедший дом. Планы руились, уже дело дошло до того, что будет открыта собственная небольшая галерея в Париже, которой может руководить Теодор, что торговля картинами будет вырвана из рук коммерсантов и подлинное искусство начнет распространяться в народе.

Мы осушили три бутылки дрянного вина, ресторан уже опустел, хозяин сонно поглядывал на нас, опрокидывая стулья на столики.

Ван Гог умолк, взгляделся мне в лицо и тихо-тихо спросил:

— Скажите, а это правда?

— Что именно?

Он сделал жест, обводя зал, где половина газовых рожков была уже погашена.

— То, что сейчас происходит... Вы появились так внезапно. Ваш приезд так неожидан и так выпадает из всего, что было до сих пор. Мне сейчас вдруг показалось, что деньги, полученные от вас, могут неожиданно исчезнуть, и все останется, как прежде... Понимаете, конечно, я не великий художник, у меня не было возможности учиться рисовать и не хватало таланта. Но, с другой стороны, вряд ли есть еще человек на земле, кто до такой степени не имел бы ничего, кроме искусства. Я не помню спокойного дня в своей жизни. Дня, чтоб меня не мучили угрызения совести перед братом, на плечах которого я повис тяжелой ношей, чтоб меня не терзал голод, либо необходимость платить за жилье, невозможность купить красок или нанять натурщика. Ведь не может быть, чтоб такая преданность ничего не стоила и никем не была оценена?

Черт возьми! Вы знаете, он оказался настоящим провидцем. Деньги, полученные им от меня, действительно исчезли, все стало, как прежде, потому что мне пришлось в третий раз снять Петлю. Сдернуть ее, несмотря на то, что в переписке между братьями мое посещение фигурировало, как важнейшее событие года. При том, что Ван Гог целых пятьсот франков послал Гогену с подробнейшим рассказом, откуда они взялись...

Но по порядку. Я вернулся из Арля в Париж 25-го, зашел там опять в галерею Буссо. Не потому, что собирался выписать еще одну картину из Арля, — на это уже не было времени, — а просто так. Хотел посмотреть на Теодора — уж очень много слышал о нем и читал. Я заглянул в первый зал и сразу узнал его, потому что братья были похожи. Только младший оказался больше ростом, мягче, и можно было догадаться, что этот человек ни разу в жизни никого не обидел. Он разговаривал со служителем. Я постоял, делая вид, что заинтересовался «Купальщицами» Ренуара, висевшими тут же, и потом ушел.

Кстати, он меня тоже узнал — по описанию в письме Винсента — и в свою очередь сообщил в Арль о моем коротком визите.

В тот же вечер я пришел на место вызова и благополучно вынырнул к себе. Опять всевозможные ванны, массажи. Заглядываю в «Письма», там все в порядке. Перелистываю монографию о Ван Гогге, убеждаюсь, что тут тоже появились изме-

нения. Сказано, что в июне 1888 года в Арль приехал молодой иностранец, купил у художника две картины и несколько рисунков, след которых, к несчастью, с тех пор затерялся. С «иностранным» мне все ясно — Ван Гог, естественно, показался странным мой современный французский язык, я объяснил ему, что моя мать была француженка, но воспитывался я в Сиднее. А с рисунками исследователь ошибся. Я забыл вам сказать, что в последний вечер Ван Гог набросал мой портрет карандашом, который тут же отдал мне. И все.

Забираю, одним словом, «Сеятеля» с «Цыганскими повозками», кладу в папку рисунок и отправляюсь в тот первый салон. Что же вы думаете?.. Уже через полчаса я мчался в Институт. Мчался, как если бы за мной целым взводом гнались полицейские на мотоциклах.

Понимаете, пришел и попадаю на усатого старика. Он берет картины и рисунок, вертит, нюхает, чуть ли не пробует на зуб. Я тем временем повествую о древнем чердаке. Он кивает, да-да, мол, все верно, картины упоминаются, в письмах есть подробные описания каждой. Говорит, что сам всю жизнь посвятил изучению творчества Ван Гога и не может не признать, что рука его. Потом берет «Цыганские повозки» — не «Сеятеля», а именно «Повозки», — нажимает кнопку в стене. Шкаф с книгами отъезжает в сторону, открывается ниша, в которой аппарат, определяющий время изготовления того или иного произведения искусства. Лучи, углеродный или там другой анализ.

Представьте себе, на экране возникает надпись: «Порядок — до 100 дней».

Как вам это нравится? Сто дней, то есть три месяца с того момента, когда краски положены на холст. Оно, в общем, и соответствует действительности, поскольку «Цыганские повозки» Ван Гог написал за два с половиной месяца до моего приезда к нему. Но я перенес вещь сразу через нулевое время, краски и в самом деле старились из-за этого не сто лет, а только сто дней.

Насчет «Сеятеля» же старик говорит, что наиболее пастозные места вообще не высохли и липнут. Но при этом он, видите ли, не сомневается в подлинности, а что касается портрета, то изображен несомненно я.

И смотрит на меня, спрашивая взглядом, как это все понимать.

Но ведь о существовании Временных Петель всем было известно. По интервидению хотя бы раз в неделю передают ка-

кой-нибудь фильмишко, украдкой снятый из-за кустов с помощью сверхтелеобъектива с безлюдных скал. Каждый знает, что путешествие в прошлое возможно, хотя и разрешается только в исключительных случаях.

Я тогда скромненько забираю все свое имущество, ни слова не говоря, поворачиваюсь и ускоряющимся шагом иду на улицу. Счастье мое, что все научные сотрудники Института в тот момент слушали доклад в конференц-зале. Врываюсь, хватаю ошеломленного Кабюса за шиворот. Отдышался только, когда из Камеры вылез.

За нарушение Закона об Охране Прошлого по головке не гладили. Я бы и костей не собрал в случае чего. Вполне могли взять и двинуть в меловой период без обратного вызова. Так, между прочим, тогда и поступали с рецидивистами — не можешь жить среди людей, давай к пресмыкающимся за сто или сто двадцать миллионов лет до современности. Там не замерзнешь в тропическом предледниковом климате, пропитаешься растениями. Но словом не с кем перемолвиться, скука, и в конце концов сам предложишь себя на полдник какому-нибудь тиранозавру. А если преступников было двое, размещали с небольшой временной разницей — одного в такой-то момент, а другого только на сто лет позже.

Правда, в моем случае учли бы молодость. Так или иначе, обошлось. До сих пор не знаю, позвонил ли старикан-искусствовед, куда надо было. Скорее всего, да. Если так, за мной и на самом деле гнались, но не успели. Как только я сдернул завиток, «Сеятель» мгновенно оказался опять в галерее в Цюрихе, «Цыганские повозки» — в Лувре, рисунок дематериализовался, всякое упоминание о моем визите в Арль исчезло из писем. И мое посещение салона на бульваре Сен-Мари осталось существовать лишь у меня в памяти, как альтернативный вариант, сменившийся другим.

Но тут, признаюсь вам, у меня опустились руки. Что касается Кабюса, он вообще лежит пластом. Да и сам я чувствую, что стена, — даже если привезешь что-нибудь ценное из удаленных назад веков, все равно Петля сократит время, и либо тебя в подделке обвинят, либо поймут, что связан с Институтом. Как ни крути, выходит, что давность лучше не трогать и политики не зря отказались. Вместе с тем жалко ужасно. Вот оно, прошлое, рядом. Пока Кабюс в Институте, все мое — от двадцатого века до первого и дальше туда за великие китайские династии, за греческие лады, плывущие к Трое, за башни Ассирии и египетские пирамиды. Можно метнуть в

пиратские времена, раскопать сокровища Кидда; хоть золото ничего не стоит, за старинные дублоны или древний кинжал немало отвалили бы ЕОЭнов. Но как добиться, чтобы они так старыми и остались — никак ведь не добьешься.

Мои собственные накопления чуть ли не все истрачены, за три посещения ухнул пятьдесят тысяч Единиц Организованной Энергии. И вы знаете, как это бывает — еще каких-нибудь четыре месяца назад жил вполне довольный своим положением, на окружающих смотрел свысока, собой гордился, а теперь места не нахожу. И коттедж и свой личный флаер последней модели — все опротивело, чувствую себя нищим по сравнению с тем, что мог бы иметь в случае удачной операции.

Хожу, кусаю губы. И как раз через неделю после моего возвращения утречком по телевидению сообщают о замечательной находке под Римом. Археолог-дилетант, копаясь в окрестностях Вальчетты, обнаружил в развалинах древнего храма погребенный под землей ход в стене, тайник, а в нем целую коллекцию превосходнейших античных камей — знаете, такие резные камни с рельефным изображением. находка датируется двухсотыми годами до нашей эры — в этом сходятся мнения искусствоведов и показания прибора.

Вот, думаю, везет некоторым. А тут можешь прыгать в прошлое, и то ничего.

Приносят газеты. На первой странице заголовки о чудесных камнях Вальчетты. Высказывается предположение, что это часть сокровищ какого-нибудь римского сенатора эпохи цезарей, который в смутное время избиений и казней решил ее припрятать. Тут же портрет человека, который раскопал потайной ход. Физиономия у него весьма решительная, как-то мало похожа на археолога-любителя. В аппарат не глядит, опустил глаза, стараясь прикинуться овечкой, а у самого рожца — бр-р-р-р-р!

Вечером вдруг звонит Кабюс. Пришел, сел. Мялся-мялся, потом говорит:

— Дураки мы с тобой.

— Почему?

— Да потому, что не надо было тащить картины Ван Гога в Камеру. Нужно было там их и оставить, в прошлом.

— Какой же смысл?

Он не торопясь берет газету с фотографией того счастливец с камнями. Смотрит на нее.

— Знаю этого типа. Он ко мне приходил еще до тебя. Только я побоялся связываться. С полгода назад было.

Тогда я хлопаю себя по лбу, потому что начинаю понимать. Парень нашел дорогу в итало-американскую Временную Петлю. Спустился в Рим эпохи цезарей, организовал там эти камен — скорей всего действительно у какого-нибудь сенатора. Потом не стал возвращаться с ними через Камеру, а там же пошел в Вальчетту, разыскал храм, относительно которого ему было точно известно, что строение достойно до нашего времени. И ночью, чтоб никто не видел, запрятал свою добычу. Потом спокойно вынырнул в современность, раздобыл себе эти кисточки, которыми археологи орудуют, поехал в Вальчетту уже автомобильной дорогой, облачился в синий халат, взял лопату, поплевал на ладони и на следующий день поднял крик о находке. Получилось, что камен сквозь Камеру не прошли, две тысячи лет пролежали в стене, состарились, что и было показано аппаратами.

Думаю это я так, а потом обрываю себя. Но ведь ход и вообще все это место ученые тоже обследовали. Могли же понять, что раскоп свежий... И тут же поправляюсь. Нет, не верно. Важно не то, когда он раскапывал, а время создания тайника. А ход был в стене сделан именно двадцать столетий назад. Он ведь там его пробил, в I веке, там же и заложил.

Вся проблема становится с головы на ноги. Доставлять ценности из прошлого в настоящее все-таки можно. Только надо их прятать там, а «находить» здесь...

Через двадцать суток я опять был в прошлом веке, точнее в мае 1890 года, на окраине маленького городка Сен-Реми, где Ван Гог приютили в доме для умалишенных. Собственно, можно было отправиться вторично в один из двух периодов, мне известных, но все-таки я видел художника, когда он только начинал заниматься живописью, посетил и в середине пути. Теперь имело смысл посмотреть, каким Ван Гог будет к концу своей жизни, иначе осталось бы чувство незавершенности. Однако самым важным соображением было, конечно, то, что именно в июле он завершил два наиболее знаменитых полотна: «Звездную ночь» и «Дорогу с кипарисами». На них я и прицелился — после всех неудач и бесполезных трат нас с Кабюсом мог выручить только большой куш.

Снова утро. Страж у ворот пропускает меня, ни о чем не спрашивая. В передней части парка аллен расчищены, дальше запущенность, глухота. Вишня, за которой никто не ухаживает, переплетается с олеандрами, кусты шиповника спутались с дикими рододендронами, а на повороте тропинки, по которой я двинулся вглубь, стоит огромный засыхающий каш-

тан, и его желтые, как осенью, листья застряли в космах перепутанной, некошенной травы. Женщина с корзиной белья попадается навстречу, я спрашиваю, где мне найти Ван Гога. Это прачка, с мягким, робким выражением лица и большими красными руками. Она уточняет, имею ли я в виду того, «который всегда хочет рисовать», машет рукой в сторону здания, желтеющего вдали сквозь листву, и называет номер палаты — шестнадцать. Я пошел было, женщина меня окликает и говорит, что сегодня Ван Гог будет трудно увидеть — совсем недавно был припадок. Я хлопаю себя по карману и объясняю, что тут для него найдется утешенье.

Желтое здание оказалось отделением для буйных — окна изнутри забраны решетками. Но двери центрального входа широко распахнуты — как те, в которые я вошел, так и с противоположной стороны главного корпуса. В длинном коридоре все палаты тоже открыты — с двумя, с тремя или даже пятью постелями. Блестит только что вымытый кафельный пол, ведро с тряпкой оставлено у стены, а со второго этажа слышны негромкие голоса двух женщин. Прикидываю, что выдался, вероятно, спокойный день, больные отпущены в сад, а обслуживающий персонал занят уборкой, сквозняки гуляют по всему дому. Не сказать, что обстановка гнетущая, но щемит от небрежно распахнутых дверей — ими подчеркивается, что у обитателей комнат нет уже ничего личного, своего, неприкосновенного.

Я прошагал весь коридор, повернул, оказавшись теперь уже в одноэтажном флигеле, дошел до конца флигеля и тут увидел номер шестнадцать.

Дверь приоткрыта, стучу, ответа нет. В комнате койка, покрытая серым одеялом, табурет в углу. На подоконнике рассыпаны краски, рядом висит знакомый мне трехногий мольберт. Тут же куча холстов, внизу я увидел высунувшийся, запыленный край «Звездной ночи».

Я сел на табурет и стал ждать. Издали доносились едва различимые звуки рояля — кто-то начинал и начинал жалобную мелодию, но, взяв несколько аккордов, сбивался, останавливался и брался снова.

Затем в коридоре послышались шаги, они приближались, я стал в своем углу.

Ван Гог вошел, пусто посмотрел на меня, медленно прошествовал к окну. И, признаюсь вам, мне стеснило сердце.

Я бы сказал, что он был смертельно ранен. Драма с Гогеном, сумасшедший дом в Арле, куда художника дважды за-

ключали, продолжающаяся невозможность добиться признания — все это за два года прошлось по нему, как автоматная очередь. Виски его поседел, спина сгорбилась, синие круги обозначались под глазами, которые уже не жгли, а, прозрачные, смотрели туда, куда другие не могли заглянуть. На нем был казенный халат, и я вспомнил по «Письмам», что приют для умалишенных именно в Сен-Реми был избран потому, что плата за содержание составляет здесь один франк в день и больных одевают за счет заведения — дела Теодора после короткого периода сравнительного благополучия опять пошли плохо, братьям приходилось экономить каждое су.

Все так, и при этом странное отрешенное величие было в его фигуре. Я смотрел на него, и вдруг почувствовал, что уважаю его. То есть колоссально уважаю, как никого на свете. Понял, что уже давно начал уважать — со второй, а может быть, даже с первой встречи. Пусть он не умеет рисовать, пусть лица мужчин на его картинах картофельного цвета и с зеленью, пусть поля и пашни вовсе не таковы, какими он их изображал. Но все равно в нем что-то было. Что-то такое, по сравнению с чем многое делалось подсобным и второстепенным — даже, например, атомная энергия.

Я превозмог свой трепет и стал говорить, что могу дать огромные деньги за его последние картины. Такую сумму, что он и брат не только снимут дом, но и купят его. Что они приобретут даже целое поместье, что будут приглашены самые замечательные врачи, которые поправят его здоровье и вылечат от припадков сумасшествия.

Он выслушал меня внимательно, потом поднял глаза, и его взгляд пробил меня насквозь.

— Поздно,— сказал он.— Теперь уже ничего не надо. Я отдал своей работе жизнь и половину рассудка.— Он посмотрел на груды холстов, с трудом нагнулся и бережно рукавом отер пыль с верхнего. Это были «Белые розы». Губы его дрогнули, и он встряхнул головой.— Иногда мне кажется, что я работал, как должно. Что большее было бы не в силах человеческого, и что этот труд должен принести плоды.

Затем он повернулся ко мне.

— Идите. У меня мало времени, я хочу еще написать поле хлебов. Это будут зеленые тона равной силы, они сольются в единую гамму, трепет которой будет наводить мысль о тихом шуме созревающих колосьев и о человеке, чье сердце бьется, когда он слышит это.

Последние слова прозвучали совсем тихо.

И, скажу вам, я отступил, не произнося ни звука, поклонился, вышел в коридор, проследовал через заброшенный сад в город, на вокзал, и был таков. Тихо и скромно, как овечка. Конечно, проще простого было дожидаться, когда Ван Гог выйдет за чем-нибудь из комнаты, зайти туда на одну минуту и взять что надо. Никто не стал бы меня останавливать на воротах. Никто не спросил бы, что я несу, а место в Сен-Реми, где холсты спокойно пролежали бы столетие, было уже подготовлено.

Но не смог. Не смог, даже понимая, что самому Ван Гогу несколько тысяч франков, оставленные на подоконнике, принесли бы больше пользы, чем два его полотна.

Вернулся в столицу Франции и прыгнул обратно к себе. Кабюс встречает меня у Камеры трепещущий, жадно смотрит на чемоданы. Но, правда, в поезде мною уже был подготовлен план, который я тут же и изложил. Объяснил Кабюсу, что не способен больше беспокоить ни самого художника, ни его родственников — пусть так и проживут, как прожили. Теперь надо действовать по-другому. Поскольку мы все знаем и понимаем, в наших силах совершить грандиознейшую аферу, которая не только вернет затраченное, но обогатит нас на всю жизнь. Не будем тянуть по одной-две картины. Следует избрать время, когда художник знаменит, письма давно изданы и с его вещей сделано множество репродукций. Например, конец тридцатых годов нашего века — произведения искусства уже дороги, но все равно в десятки раз дешевле, чем в 1996-м. Главное же то, что мы станем за них платить товаром, который в наше время почти ничего не стоит — золотом.

Понимаете, меня осенило, что я вообще напрасно путался с подготовкой приличного костюма, доставанием современных Ван Гог денег и всяким таким. Ведь можно было явиться в старый Париж чуть ли не в рубище, в первом попавшемся ломбарде заложить золотое кольцо, на полученные деньги одеться, продать затем золотой браслет в ювелирном магазине, купить собственный выезд и так далее по возрастающей. При этом никакого риска, что попадешься, поскольку ничто из тобой предлагаемого не является ворованным и не разыскивается. Простая контрабанда, но не через пространственную, а через временную границу.

Продав я свой флаер, заложил дом. Кабюс тоже где-то раздобыл ЕОЭнов или, во всяком случае, сказал, что раздобыл — тут в целом была неясность. Понимаете, проверить энергетический баланс Института я не мог, а без этого как узнаешь,

добавляет ли он вообще что-нибудь к моему вкладу. Известно было, что поездки в прошлое требуют огромного количества энергии, но какого именно, зависело от периода. С другой стороны, ему ничто не мешало сказать, что его доля больше моей или такая же, а он всегда говорил, что меньше. Правда, не очень-то я этим интересовался — пусть он даже втрое против меня заработает. Завидовать я вообще никому не завидовал, а тот парень с камнями меня расстроил только потому, что моя глупость вдруг оказалась очевидной... Наличных, кстати, я у Кабюса никогда не видел.

Ну, ладно. Прежде всего взяли мы два плана Парижа — тридцатых годов и 1996-го. Задача состояла в том, чтобы найти здание, — по возможности небольшое и обязательно принадлежащее частным лицам, — которое простояло бы последних лет шестьдесят без существенных изменений. Искали-искали и нашли. В старину место называлось проездом Нуар, в наше время — бульваром Буасс. Одноэтажный, но довольно массивный домик, который чудом удержался возле прозрачных громадин, ограничивающих Второй Слой с юга. Съездили туда, там, естественно, никто не жил. Мгновенно договорились с владельцами, что снимаем его на полгода, — они и деньги отказались с нас за это получать.

Недели за две я разместил заказы и собрал килограммов шестьдесят золотых и платиновых украшений с алмазами, сапфирами и прочим. Набил два таких чемодана, что далеко не унесешь. Кабюс приготовился, чтобы в ближайшие дни перебраться в тот домик, наладил мне Камеру — уже четвертый или пятый раз, не помню, и ваш покорный слуга двинул в свое последнее, решающее путешествие, в год 1938-й. Я выбрал именно 38-й, чтобы не попасть к началу второй мировой войны, когда всем станет не до картин.

В общем-то, все было мне привычно. Без особых волнений возник со своим багажом ночью на бульваре — при мне отлично сфабрикованный паспорт с несколькими заграничными визами. Поехал на вокзал, взял билет до Брюсселя. Оттуда перекочевал в Роттердам, пароходом в Лондон, из Лондона на Гамбург, Кельн, Лозанну в Швейцарию и опять в Париж. Мотался по Европе больше двадцати дней и за это время превратил все, привезенное из 1996-го, в наличные деньги. Вызвал даже легкую панику на рынке драгоценностей — представляете себе, вдруг выбрасывается такое количество товара сразу.

В Париже разыскал проезд Нуар и наш домик. Хозяева

оказались предками молодой женщины, которой предстояло владеть им через шесть десятилетий, но, само собой разумеется, были совсем другие люди. Я объяснил, что пишу роман, что нравится атмосфера старины и хотел бы поработать тут в полном одиночестве. Предложил тысячу франков за месяц, они не пожелали со мной разговаривать. Пообещал пять, они задумались, а когда сказал, что не постою и за пятнадцатью, спросили, можно ли им остаться еще до вечера.

Место было — лучше не придумаешь. Уличка пустая, безлюдная, одни только кошки греются на солнце да шмыгают из подворотни в подворотню. Дом стоит чуть в глубине, за ним глухая стена ткацкой фабрики, с одного боку склад, а с другого — унылый сад сплошь в крапиве. Тут даже во дворе можно было бы зарыть в землю целый Кельнский собор, и никто бы не заметил.

Въехал, разложил по комнатам свое имущество, зашторил окна, спустился в подвал. Смотрю, здесь пол тоже выстлан досками — это для меня и лучше. Набрал себе постепенно инструментов и взялся за работу. Снял доски, принялся вырубать в кирпичном фундаменте тайник. Тогда как раз появились в продаже первые ламповые радиоприемники — громоздкие такие ящики, несовершенные, с хрипом, сипеньем. Зафугуешь эту машину наверху на полную мощность, а сам внизу долбаешь. Вручную, конечно. В ту пору даже электродрели не было. А кладка слежавшаяся — строили на века. Это в мое время стало, что лишь бы строение от ветра или сейсмических колебаний не свалилось, да чтобы светло и уютно. А тогда запас прочности давали раз в двадцать больше, чем надо. Сперва шлямбур поставишь и лупишь по нему кувалдой. Потом ломом зацепляешь кирпич, наваливаешься, и он лезет со скрипом, как коренной зуб. По кирпичу в час у меня получалось, не больше. Иной раз так намахаюсь, что плечевой пояс весь звенит, и в пору устраивать забастовку, требовать сокращения рабочего дня.

Возился я, возился, и сам все думаю: ведь небось через шестьдесят лет вперед в этот миг Кабюс сидит с женой в подвале, и оба ждут, что вот-вот проступит по кирпичам линия тайника. Интересно так было, что вот я здесь, они там, в одни и те же моменты, в одном и том же месте, но через время. Я чего-то сделаю, а там отражается.

Долго ли, коротко, но дело было сделано. Почистился, и временно перебрался на жительство в отель «Бонапарт», неподалеку от Люксембургского сада, где могли предложить действительно необыкновенный для той эпохи комфорт.

Отдохнул и вышел в город.

Лихорадочное какое-то было времечко — вот этот октябрь предвоенного 1938-го. Недавно Даладье вернулся из Мюнхена и заявил на аэродроме, что он и Чемберлен «привезли Европе мир». Чехословакию отдали германскому фюреру, который с трибуны рейхстага торжественно заявил, что его страна не имеет больше никаких территориальных притязаний к кому бы то ни было. А Риббентроп, фашистский министр иностранных дел, тем временем пригласил к себе польского посла в Берлине Липского, чтобы потребовать от Польши город Гданьск, или Данциг, как он тогда назывался.

Но Париж еще не знал этого и праздновал наступление обещанной мирной эпохи. На Елисейских полях стоял чад от автомобилей, светящимися крыльями вертела новая «Мулен-Руж», в своих первых фильмах снялся этот, как его... Жан Габен. Юбки постепенно делались короче, но то были, естественно, не мини-юбки, до которых оставались еще десятилетия. Буржуа отплясывали сунгг в ночных ресторанах. Лилось шампанское, вошел в моду кальядос, который воспел потом Ремарк в романе «Триумфальная арка».

И, конечно, Винсент Виллем Ван Гог был уже в полной славе своей. Все-таки он добился признания, мой вечный неудачник! Лицо, которое я так хорошо знал, появилось на страницах журналов, газет, даже на афишных тумбах. Печатались многочисленные статьи о нем, книги. Цветная фотография позволила заново репродуцировать его произведения. Несколько подлинников висело в Музее Родена, в Музее импрессионистов, а в Лувре как раз открылась большая выставка, куда было свезено около четырехсот вещей из Лондона, Нью-Йорка, из ленинградского «Эрмитажа», Бостона, Глазго, Роттердама, из Московского музея изящных искусств, из бразильского города Сан-Паулу, даже из Южной Африки и Японии. То, что он писал и рисовал рядом с деревянным корытом или на холоду, думая на замерзающие пальцы, то, что сваливал под ободранную койку или голодный, с пустым, урчащим брюхом, волок на себе, перебираясь из трущобы в хижину, опять в трущобу и в сумасшедший дом, распространилось теперь по всем континентам, по всему миру. Эскизы, которые он набрасывал, упрашивая моряка или проститутку постоять несколько минут, композиции, что начинал, судорожно высчитывая, хватит ли денег на ту или иную краску, повсюду висели на почетных местах, путешествовали только на специальных самолетах и в специальных вагонах, многочисленная охрана сопровождала их во время пе-

ревозок. На открытии выставки в Лувре исполнялись государственные гимны, а ленточку перерезал посол республики Нидерландов об руку с министром просвещения Франции. Действительно, они сбылись, — слова, услышанные мною тогда, в последнее свидание — что труд его принесет плоды. Ей-богу, мне хотелось, чтоб хоть краешком глаза он мог увидеть вспышки магия во время торжественной церемонии, очереди, что стояли с утра до вечера у входа в левое крыло музея, услышать звуки оркестра и разговоры в толпе. Но все это было невозможно, как невозможны вообще для человека путешествия в собственное будущее. Ван Гог уже полвека не было на земле, никакая сила не могла вырвать его из скромной могилы в Овере, где рядом с ним лег его брат.

Сам я между тем в силу неясного мне чувства все откладывал и откладывал первое посещение выставки. Пора было приниматься за переговоры относительно покупки картин, но я медлил. Задумчивое настроение овладело мною, было так приятно гулять осенними старыми улицами, выпивать стаканчик вина в маленьком кафе, — некоторые рецепты, к сожалению, утерялись теперь — слышать одинокий звук гитары из глубины сырого дворика, улавливать запахи осенних листьев, которые, собрав в кучки, сжигали в садах и скверах. Во мне пробудилось ощущение истории; сравнивая Париж этой осени с тем, каким он был в 1888 и 1895 годах, со спокойной грустью я отмечал неумолимый ход времени. Город, правда, еще оставался старым городом, не существовало пока однообразных новых кварталов и всей системы перекрещивающихся многослойных дорог, которую стали создавать в 70-х.

Вот так, прогуливаясь, однажды утром я забрел на маленькое кладбище. Было светло, солнечно, пели птицы. Знаете, как у них бывает — начнет одна, затем, будто опомнившись, присоединяется еще две-три, а к этим целый десяток. Минуту длится концерт, внезапно все умолкает, и так до того мгновенья, когда кто-то опять не нарушит тишину. Я сел на скамью, пришла нянька с девочкой, неподалеку взад-вперед шагал тощий молодой человек, что-то шепча про себя. Похоже, стихи. Поэт, наверное. Почему-то здесь мысль о смерти не казалась отталкивающей.

Я посмотрел на скромный каменный крест передо мной и увидел надпись: «Иоганна Ван Гог-Бонгер. 1862—1925». Понимаете, это была могила жены Теодора. Той, о которой Ван Гог говорил в письмах, как о «дорогой сестре». Той женщины с испуганным взглядом.

Значит, она умерла, сказал я себе. Впрочем, удивляться тут было нечему. Как-никак со времени моего знакомства с ней прошло больше четырех десятилетий. То есть прошло, как вы сами понимаете, для нормальной жизни, для исторического развития, но не для меня, который приехал в 1938-й год примерно таким же двадцатипятилетним болваном, каким приходил тогда на улицу Донасьон в 1895-м.

Поднявшись со скамьи, я подошел ближе к чугунной оградке. Чуть покачивались ветки разросшегося жасмина, крест окружали три венка из искусственных цветов, заключенных в стеклянные футляры по обычаю начала этого века. Я нагнулся, чтобы разобрать слова на полуистлевшей ленте, внезапно дрожь прошла по моей спине, а горло сжалось.

«Верность, самоотверженность, любовь» — вот, что там было написано.

И это ударил первый гром. Я выпрямился, закусил губу. Неплохая была семья — Ван Гоги. Один рисовал, другой, отказывая себе, поддерживал его, а третья не позволила миру пропустить, бросить незамеченным то, мимо чего он уже готов был равнодушно пройти. Я вспомнил Иоганну, ее чуть вытаращенные глаза, достоинство, с которым она сказала тогда, что не продаст картины. Действительно, нужна была верность, чтобы заявить, что произведения полусумасшедшего отщепенца и неудачника необходимы человечеству. На самом деле требовалась любовь, чтоб долгие годы день за днем разбирать смятые пожелтевшие листки, расшифровывать строки нервно бегущего почерка, слова и фразы на дикой смеси голландского, английского и французского, сопоставлять, переписывать, приводить в порядок. Но она взяла на себя этот самоотверженный труд, посветив ему собственную жизнь, преодолела все препятствия, сумела убедить сомневающихся издателей и выпустила первый томик. Теперь ее давно уже нет, но к современникам доносится горькая жалоба Винсента из Хогевена, Ньюэнена, Арля, его гнев и надежда.

Черт меня возьми!.. Смятенный, я вышел с кладбища и неожиданно для себя отправился в Лувр.

Приезжаю. Толпа, топтание на месте, медленное продвижение. Все, конечно, вежливо, доброжелательно... И разговоры. Сравнивают Ван Гога с другими импрессионистами и постимпрессионистами, ищут всяческие взаимные влияния. Одному нравятся портреты, другой восторженно говорит о пейзажах. Я же молчу и думаю, что все это гипноз. Спору нет, он был великий, прекрасный человек, однако, что касается художника,

тут я останусь при своем мнении. Ни рисовать, ни писать маслом он не умел и не научился. Я же сам видел, как он работает, это мазня, а не живопись, меня не обманут критики и искусствоведы.

Проходим в вестибюль, приобретаем билеты. Служители по-праздничному приветливы и одновременно серьезные, как в храме. Мраморные ступени лестницы, стихают разговоры, глуше, осторожнее становится шарканье ног.

Первый зал. Тесно... Я стою и почему-то не решаюсь поднять глаза. Затем поднимаю. Передо мной «Едоки картофеля», рядом «Ткач», «Девочка в лесу», «Старая башня Ньюэнен». Все хорошо мне знакомое.

Смотрю, и вдруг картины расширяются, увеличиваются, срываются с мест, летят на меня. Это как чудо, как фантастика. Грохочет гром, вступает музыка, и я опять там, на окраине Хогевена, в бедной хижине поздним вечером. Люди неподвижны вокруг блюда с картошкой, но в то же время двигаются, они молчат, но я слышу их немногословную речь, ощущаю мысли, чувствую их связь друг с другом. Такие вот они — с низкими лбами, некрасивыми лицами, тяжелыми руками. Они работают, производя этот самый картофель, грубую ткань, простые, первоначальные для жизни продукты. Они и потребляют многое из того, что делают, но какая-то часть их тяжелого труда в форме налогов, земельной ренты и тому подобного идет на то, чтоб у других был досуг, из этой части возникают дворцы, скульптуры, симфонии, благодаря ей развиваются наука, искусство, техника.

Мужчина протянул руку к блюду, женщина тревожно смотрит на него, уж слишком усталого — почему-то не ответил на ее вопрос. Старик дует на картофелину, старуха, задумавшись, разливает чай. Ей уже не до тех конфликтов, что могут возникать между молодыми, она знает, что маленькую размолвку или даже ссору поглотит, унесет постоянный ток жизни, в которой есть коротенькая весна, быстрые мгновенья любви, а потом все работа, работа, работа...

Я узнаю лампу, висающую над столом, закопченный потолок, узнаю самого мужчину. Вот сейчас я войду к ним, он неторопливо доест свою порцию, затем встанет, что даст мне возможность поговорить с художником. Он не получил никакого образования, ум его не изощрен и не быстр, но он выходит на темную улицу, зная, что «так надо», что должно помочь нищему чудаку, снявшему у них угол.

Эти едоки картофеля как будто бы не оставили ничего свер-

кающего, заметного на земле и в общей летописи племен и государств, но их трудолюбие, неосознанное, почти механическое упорство, с которым они боролись за собственную жизнь и своих близких, позволили человечеству перебиться, перейти тот опаснейший момент истории, когда все держалось на мускульной силе, когда человек как вид в своем подавляющем большинстве попал в условия, пожалуй, худшие, чем у животных, когда уже кончилась эпоха его биологического совершенствования, но еще не вступили другие факторы. Им было трудно, крестьянам, ткачам с серыми лицами, но они позволили нам сохранить человечность и выйти в будущее, к возможным глубоким всестороннему контролю над окружающей средой...

С трепетом, с волнением я начинаю понимать, что же сделал Ван Гог — художник. Он оставил нам их, этих темных работяг, не позволил им уйти в забвение. Но более того, он намекнул, что будущим изобильем благ, стадионами, театрами, вознесшимися ввысь городами-магеполисами, каким, например, стал Париж к 1995-му, и всякими другими чудесами, которых еще и в мое время не было, мы обязаны и будем впредь обязаны не люющемуся с нашего светила потоку энергии, не гигантским силам, удерживающим вместе частицы атомного ядра, а человеческому сердцу.

Черт меня поберит!.. Бросаюсь в другой зал, третий, обратно в первый. Расталкиваю народ, то застываю, то срываюсь с места бегом. Смотрю на «Звездную ночь», что привезена в Лувр из Музея современного искусства в Нью-Йорке, и мне приходит в голову, что в звездах Ван Гог видел не только светлые точки, как все мы, но прозрел огромные короны, простирающиеся на миллионы километров, уловил всеобщую связь всего со всем, поэтическую зависимость нашей жизни от тех таинственных процессов, что происходят в космосе, — зависимость, которую лишь впоследствии открыл ученый Чижевский. И не только это! Меня осеняет, что, развиваясь от вещи к вещи, Ван Гог предвидел проблемы, которые лишь столетием позже встали перед человечеством, когда природа, будто бы уже покоренная, выкинула новый вольт, доказав, что нельзя быть ее господином, а только другом и сотрудником. Я вижу самодовлеющую ценность бытия, сложность вечно живущей материи, напряженно застывшую в яркости и резких контрастах его натюрмортов, чувствую в больших композициях трепет пульса биосферы.

А на пейзажах льется зеленовато-желтый дождь солнечных

лучей, о котором он говорил мне в Арле, по-сумасшедшему закручиваются кипарисы, море переливается розовостью и голубизной, и все это обещает наступление тех времен, когда человек, освобожденный от заботы о хлебе, поймет наконец, как прекрасен мир, в котором ему суждено было родиться...

Что вам сказать? Целый день я провел в Лувре, а вечером уселся на скамью в Люксембургском саду и стал думать. Все это очень хорошо, картины, вот они передо мной, я предложу невиданные деньги, и, конечно, смогу приобрести большую часть их. Но, с другой стороны, скоро гитлеровцы в рогатых касках затопят Европу, и рядом с теми, кто борется против них, станут произведения великих художников, писателей, композиторов. В Голландии возникнет партизанский отряд имени Ван Гога, маленькая еврейская девочка, обреченная фашистами на уничтожение, оставит в своем дневнике запись о «Подсолнухах», томик «Писем» найдут в вешмешке красноармейца, убитого на фронте под Ленинградом. Желто-зеленый солнечный свет будет нужен людям и в трудный послевоенный период, в сложные пятидесятые годы и тревожные шестидесятые. Так неужели же я окажусь таким последним мерзавцем, чтобы исключить Ван Гога из истории человечества, скрыть его как раз в то время, когда в нем более всего нуждаются?

Я встал, пошел в отель «Бонапарт», взял два своих чемодана, набитых долларами, влез в подземку, вылез около Двойного моста. Спустился под пролет к реке, устроился поудобнее, раскрыл чемоданы и принялся потихоньку бросать кредитные билеты в воду. Отщипывал от пачек стодолларовые бумажки по одной, они выскальзывали из моей руки, плыли метров десять, а затем постепенно тонули. Сел рядом оборванный толстенный бродяга. Помолчал, спросил, фальшивые ли. Я ответил, что настоящие. Он осведомился, сколько их тут у меня, я объяснил, что около полутора миллионов наличных и еще на три с половиной чеками. Он некоторое время смотрел, как я распечатываю пачки, и сказал:

— Оставь доллар. Возьмем вина.

Я дал ему долларовую бумажку, он принес большую бутылку молодого корсиканского. С ним я остался ночевать тут же под мостом, в дырявой палатке, а потом прожил там две недели. Отель мне опротивел, ни разу я не зашел ни туда, ни на проезд Нуар, где зиял в подвале развороченный пол. Кормилась с бродягой у Орлеанского вокзала. То чемодан кому-нибудь поднесешь, то поможешь шоферу разгрузить машину — неплохо даже зарабатывали. Приятный человек был этот тол-

стенный. Все хвалил меня, что я спустил деньги в реку. Говорил, от них одна морoka.

Быстро пронеслись четырнадцать дней, настало 30 октября, когда меня должен был вызвать 1996 год. Явился я к двенадцати ночи на бульвар Клиши, становлюсь на знакомое место. Настроение отличное, только что устроили с бродяжкой прощальный ужин под мостом.

Смотрю на ручные часы — они у меня были, кстати, наши, кристаллические, но в «мозеровском» корпусе, ни уходить вперед, ни отставать не могли. Все точно — еще пятнадцать секунд и прощай 1938-й.

Набрал в легкие воздуха, чуть приподнял руки. Когда меня в Камеру затягивали, на миг возникло ощущение, будто с вышины бросаешься в воду или, скажем, прыгаешь вверх с ракетным ранцем. Очень ненадолго, конечно.

Ну, думаю, пусть только Кабюс начнет свое всегдашнее нытье, пусть только слово посмеет сказать. Как врублю ему между глаз — узнает, корыстолюбец, как нарушать Всемирный Закон, торжественно подписанный представителями разных народов и эпох!

Пять секунд до срока... две... одна, и...

И ничего!

Удивился, решил, что сам мог ошибиться на минуту — не запомнил точно срок. Еще раз поднимаю руки. Секунды сыпятся. Три... одна... ноль.

Опять ничего.

И, вы знаете, так я и остался в вашей современности.

Вызова не было ни в эту ночь, ни в следующую, ни всю неделю, что я туда приходил на бульвар. То есть остался я там, в 1938 году, а потом уже вместе со всеми, общим порядком, дожил, доехал вот до этого 1970-го...

Что вы говорите — Кабюс рассердился?.. Честно говоря, мне и самому сначала так подумалось. Договоренность была, что я пробуду в 1938-м три месяца. Вот я и прикинул, что Кабюс с женой к концу этого срока взломали пол в подвале, увидели, что там пусто и решили меня вообще не выдергивать. Но, с другой стороны, могло быть и совсем иначе. Тут вся штука в изменениях, которые нельзя предвидеть. Помните, у нас был разговор, что даже после того, как сдернут завиток, какие-то последствия твоего пребывания в прошлом все равно остаются. Я вам не говорил, что всякий раз, когда я возвращался от Ван Гога, Кабюс менялся. На него и с самого начала девушки не заглядывались, результатом же моего первого путешествия

было то, что нос у него еще вытянулся и скривился. После сдержанного завитка нос сделался короче, но остался на стороне. И так оно пошло. Когда я вернулся, прыгнув второй раз, он был уже не Кабюсом, а Бабусом и стал меньше ростом. После третьего путешествия физиономия у него стала совершенно как у хорька — знаете, такая вся собранная вперед. Я даже не мог скрыть своего удивления, он меня всегда спрашивал при выходе из Камеры, почему я так странно на него смотрю. Один раз заподозрил что-то и стал допытываться, не был ли он раньше красавцем. А после четвертого путешествия он был женат не на тощей брюнетке, а на маленькой блондинке, круглой, с тусклыми глазами и низким лбом. Однако Кабюс, конечно, только самый очевидный пример, то, что мне первое в глаза бросалось. Были и другие перемены.

Даже с Ван Гогом, между прочим, кое-что менялось. Смотришь его письма и другие материалы о нем до очередного путешествия, там одно, а когда возвращаешься, — немножко не так. Вот сейчас я читаю в книгах, что «Едоков картофеля» художник написал в 1885 году, а когда я первый раз путешествовал, это был 83-й. Правда, сама картина осталась совершенно той же.

...И наконец, еще один важный момент, чтобы закончить об этих изменениях. Чем ближе к своей собственной современности ты ворошишь прошлое, тем заметнее всякие побочные эффекты. То же самое, как если бы веселая компания облюбовала уютную бухточку на реке, а потом кто-нибудь поднялся бы вверх по течению и шутки ради вылил в воду ведро краски. Если он это проделает километров за десять от места, где сидят остальные, никто ничего и не заметит. А если в трех шагах, вода будет вся красная или там зеленая. Но ведь в последний раз я метнул именно в близкое прошлое, да еще наделал там шуму, распродав драгоценностей на несколько миллионов. Поэтому вовсе не обязательно, что Кабюс обозлился и обиделся. Могло быть, что в новом варианте истории он не стал техником при Временной Камере, что не нашел лазейки, как замещать энергию, что мы с ним просто не были знакомы или что изобретение Временной Петли укатилось дальше в будущее. Более того, могло быть, что при осуществившихся изменениях, при другой альтернативе я сам вообще не родился. И некого было вызывать.

Так или иначе, я не вернулся в будущее, остался здесь. И вы знаете, не жалею. Еще неизвестно, что из меня получилось бы в 1996-м.

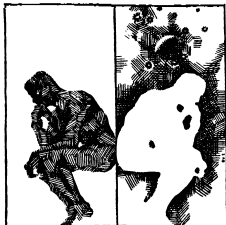
А тут у меня жизнь сложилась, я доволен. В 1939-м война началась, участвовал в Сопротивлении, потом женился, работал. Две дочки у меня, младшая кончает университет, старшая замужем, и внуки есть. Недавно поступил сюда в музей сторожем в зал Ван Гога. Все смотрю, как приходят люди, взрослые или мальчишки в клешах, круглоглазые девчонки. Стоят, глядят, и каждому попадает в сердце зеленовато-желтый луч. И так мне приятно, что я не увел тогда картины...

Ага, вот уже звонок, сейчас будут закрывать, надо подниматься... Что вы сказали? Помню ли я, что должно быть от 1970 к 1996 году, какие произойдут события? Конечно, помню и мог бы рассказать все. Но только не имеет смысла... Почему?.. Ну, во-первых, потому, что я сюда попал и своим присутствием оказываю некоторое влияние. Но не это главное. Я же вам объяснял, неужели вы не поняли?.. Ничего не делать?.. Нет, почему же, как раз надо все делать. Будущее всегда есть, но каким оно там впереди осуществляется, зависит от того, как мы поступаем в своей эпохе. Ну, допустим, вы хотите что-то совершить, если выполнили свое решение, идет один вариант будущего, а струсил или заленились — другой, уже без вашего поступка. И так от самых мелких вещей до глобальных. Будущее — это бесконечность альтернативных вариантов, и какой из них станет бытием — полностью диктуется всеми нами. Я-то знал один вариант, но их бесконечность, поэтому ничего нельзя сказать наперед за исключением самых общих вещей.

Так что вы не спрашивайте, каким будет завтрашний день. Хотите, чтобы он был великолепным и блестящим, делайте его таким. Пожалуйста!

---

## ПОВЕСТЬ БЕЗ ГЕРОЯ



### ПРОЛОГ

Шедший с утра дождь к вечеру превратился в тяжелые хлопья снега, которые таяли на лету. Резкие порывы ветра сгоняли с окон крупные капли, оставлявшие подтеки на стекле.

Громоздкие кресла в холщевых чехлах, покрытый плюшевой скатертью с кистями круглый стол, оранжевый паркет, две кадки с фикусами — весь этот нехитрый уют больничной гостиной казался еще более грустным в хмуром сумеречном свете.

Старшая сестра в накрахмаленном белом халате осторожно приоткрыла дверь, но, увидев дремавшего в кресле Дирантовича, остановилась на пороге.

Академик сидел в неудобной позе, откинув голову на жесткую спинку, посапывая во сне. Он был все еще очень красив, несмотря на свои шестьдесят пять лет. Крупные, может быть, несколько излишне правильные черты лица, седые, коротко, по-мальчишески стриженные волосы и небрежная элегантность делали его похожим скорее на преуспевающего актера, чем на ученого.

Представитель Комитета Фетюков захлопнул книжку в цветастой лакированной обложке и обратился к сестре:

— Какие новости?

— Не знаю. Оттуда еще никто не выходил.

Фетюков поморщился.

— Зажгите свет!

Сестра нерешительно взглянула на Дирантовича, щелкнула выключателем и вышла.

Дирантович открыл глаза.

— Который час? — спросил он.

— Без четверти шесть, — ответил Фетюков.

Сидевший у стола Смарыга закончил запись в клеенчатой тетради и поднял голову.

— Пора решать!

Никто не ответил. Смарыга пожал плечами и снова уткнулся в свои записи.

Появилась сестра с подносом, на котором был выдавший виды алюминиевый чайник, банка растворимого кофе, три фарфоровые кружки, стакан с сахарным песком и пачка печенья.

— Может, кофейку выпьете?

— С удовольствием! — Дирантович пересел к столу.

Фетюков взял банку с кофе, поглядел на этикетку и с брезгливой миной поставил на место.

— Где у вас городской телефон? — спросил он сестру.

— В ординаторской. Я могу вас проводить.

— Не надо, разыщу сам. Пойду доложу шефу.

— Чего там докладывать? — сказал Дирантович. — Докладывать-то нечего.

— Вот и доложу, что нечего докладывать.

Смарыга снова оторвался от тетради и оглядел Фетюкова, начиная от светло-желтых ботинок на неснашиваемой подошве, немнущихся брюк из дорогой импортной ткани, долгополого пиджака, застегнутого только на верхнюю пуговицу, и кончая розовым упитанным лицом с маленькими глазами, прикрытыми очками в золоченой оправе.

— Пусть докладывает. На этот счет у них строгая дисциплинка, — добавил он с иронической усмешкой.

Фетюков, видимо, хотел ответить что-то очень язвительное, но передумал и, расправив плечи, вышел.

— Чинуша! — сказал Смарыга. — С детства ненавижу вот таких пай-мальчиков. Приставлен к науке, а сам ни уха ни рыла ни в чем не смыслит.

— Бросьте! — устало сказал Дирантович. — Какое это имеет значение? Не он, так другой. Этот, по крайней мере, хоть исполнитель.

— Еще бы! Ведь вы величина для него недостижимая, академик и все прочее, а вот с нашим братом и похамить можно.

— Вам покрепче? — спросила сестра.

— Две ложки.

— Мне тоже, — сказал Смарыга.

— Вот, пожалуйста. Сахару положите, сколько нужно. Кушайте на здоровье!

— Спасибо! — Дирантович с удовольствием отхлебнул из фарфоровой кружки и взял оставленную Фетюковым книгу. — Агата Кристи! Однако наш пай-мальчик читает по-английски, а вы говорите — ни уха ни рыла.

— У них у всех страсть к импортному. Будь хоть что-нибудь путное, а то второсортные детективчики.

— Ну не скажите! Агата — мастер этого жанра. Неужели не нравится?

— Признаться, равнодушен.

— Зря! Ведь работа ученого — это тоже своего рода детектив, и умение распутывать клубок загадок...

— Так что ж, по-вашему, детективы следует в университетские программы вводить?

— Зачем вводить? И так все читают.

Вернулся Фетюков.

— Звонил из Лондона председатель Королевского научного общества. Спрашивал, не могут ли чем-нибудь помочь.

— Вот и отлично! — обрадовался Дирантович. — Может быть, лекарство какое-нибудь или консультанта. Нужно немедленно выяснить.

— Не знаю... — Фетюков замаялся. — Такие вопросы просто решаются.

— Что значит — не просто? Умирает этаким ученый, а вы... Погодите, я сам...

Дирантович встал и грузными шагами направился к двери с надписью «Вход воспрещен».

— Туда нельзя, — сказала сестра. — Подождите, я вызову дежурного врача.

— Порядочки! — сказал Дирантович и снова сел в кресло.

Через несколько минут из заветной двери, в сопровождении сестры, вышел врач.

— Ну, что там? — спросил Дирантович.

Врач отогнул полу халата, достал из кармана брюк смятую пачку сигарет и закурил. Фетюков отошел к окну и открыл фрамугу.

— Закройте! — сказал Дирантович. — Дует.

— Тут все-таки больница, а не... — пробормотал Фетюков, но фрамугу захлопнул.

— Я вас слушаю, — сказал Дирантович.

Врач несколько раз подряд жадно затащил, смочил слюной палец, загасил сигарету и сунул ее обратно в пачку.

— Ничего утешительного сообщить вам не могу. Нам удается поддерживать работу сердца и дыхание, но боюсь, что в клетках мозга уже произошли необратимые изменения, которые...

— Англичане предлагают помощь. Что им ответить?

— Что они уже ничем помочь не могут.

— Но он же еще жив?

— Формально — да.

— А по существу?

— По существу — нет.

— Простите, — вмешался Фетюков, — что это еще за диалектика? Формально — да, по существу — нет. Я, как представитель Комитета, настаиваю на немедленном консилиуме с привлечением наиболее авторитетных специалистов.

— Консилиум уже был. Сегодня ночью. Мы боремся за человеческую жизнь и делаем это до последней возможности.

— Значит, вы считаете, что эти возможности исчерпаны? — спросил Смарыга.

— Да, в таких случаях мы выключаем аппаратуру, но тут особая ситуация. Меня предупредили о готовящемся эксперименте и нужно выяснить... Насколько я понимаю, вам необходимы живые ткани?

— Желательно, — ответил Смарыга. — Если комиссия наконец решит... — Он вопросительно взглянул на Дирантовича.

— Обождите! — нахмурился Фетюков. — Вы что ж, на живом человеке собираетесь опыты производить? Имейте в виду, что Комитет никогда такого разрешения не даст.

— Послушайте, товарищ Фетюков, — голос Смарыги прерывался от плохо сдерживаемой ярости, — я понимаю, что ни по своим знаниям, ни по служебному положению вы не можете вникать в суть научных проблем. Однако вы могли бы взять на себя труд хотя бы ознакомиться с моей докладной запиской, составленной в достаточно популярной форме. Тогда бы вы не задавали такие вопросы. Никто проводить на нем опыты не собирается. Мне достаточно обычного мазка со слизистой оболочки.

— Успокойтесь, Никанор Павлович, — примирительно сказал Дирантович. — В конце концов, вы тут единственный специалист в своей области, и каждый член комиссии, прежде чем принять решение, вправе задавать вам любые вопросы. Тем более, — он взглянул на врача, — тем более, что здесь находит-

ся представитель больницы, без помощи которой, насколько я понимаю, вы обойтись не можете. Ведь так?

Смарыга кивнул.

— Вот и просветите нас. Забудьте на время о наших полномочиях и рассматривайте нас в данный момент как своих учеников. А всякие там докладные записки и прочее — это, так сказать, проформа.

— Хорошо! Последнее время я только и занимаюсь просветительской работой. Так вот, — демонстративно обратился он к Фетюкову, — известно ли вам, что в каждой клетке вашего тела находится по сорок шесть хромосом?

— Известно, — ответил тот. — Это каждому теперь известно. Гены.

— Не генов, а хромосом. Генов неизмеримо больше. Это уже гораздо более тонкая структура. Половину своих хромосом вы унаследовали от матери, а половину — от отца. Вот в этих сорока шести хромосомах и заключена суть того, что именуется представителем Комитета Юрием Петровичем Фетюковым. Не правда ли занятно?

Фетюков не ответил.

— Вот так! Однако, к сожалению, все мы бренны, даже работники комитетов.

— Кстати, профессора тоже, — сказал Фетюков.

— Золотые слова! Таков неумолимый закон природы. Ей все равно. Прожил положенное число лет, и хватит, освободай место другим. Теперь предположим, что упомянутый Юрий Петрович решил передать свои выдающиеся качества потомству. Казалось бы, чего проще?

У Фетюкова покраснела даже шея, стянутая ослепительным воротничком. Он привстал, держась за подлокотник, отчего под натянувшимися рукавами обозначились отлично сформированные мышцы. При этом он весь как-то стал похож на рассерженного кота, которого неожиданно дернули за ус.

— Арсений Николаевич! Прошу вас оградить меня от шутовских выходок профессора Смарыги. В противном случае...

— Да бросьте вы препираться! — сказал Дирантович. — Так мы никогда ни до чего не договоримся. А вас, Никанор Павлович, прошу вашу лекцию проводить, так сказать... на э... более строгом уровне.

— Не могу. Вот, говорят, когда-то академик Крылов просил денег на проведение каких-то опытов. Некий чин из морского ведомства поинтересовался, почему опыты должны так много стоить, на что Крылов ответил: «Если бы Ваше Превос-

ходительство было бы профессором Жуковским, я бы написал два интеграла, и этого было бы достаточно. Но для того, чтобы убедить Ваше Превосходительство, требуется потратить массу денег».

— Очень остроумно! — огрызнулся Фетюков. — Жаль только, что вы не академик Крылов.

— Жаль, — согласился Смарыга. — Заодно, к вашему сведению: Крылов тогда был только профессором. Однако Арсений Николаевич прав, не будем попусту терять время. Итак, некто, будем называть его мистер Зет, стал счастливым отцом. Вот тут-то и вступают в действие коварные законы генетики. Оказывается, только половина изумительных свойств папаши воспроизведена в новом члене общества. Остальную половину он получает в наследство от мамочки, так как в половых клетках каждого из родителей содержится всего по 23 хромосомы. В результате часть способностей, даже таких существенных, как умение шикарно подавать на подпись бумаги, может погибнуть втуне для грядущих поколений.

— Никанор Павлович! — Дирантович рассерженно хлопнул ладонью по столу. — Ведь я вас просил!

— Хорошо, не буду! Просто мне хотелось обратить ваше внимание на то, что природа сама себя защищает от повторения пройденного, во всяком случае там, где речь идет о биологических видах, как-то прогрессирующих. Теперь перейдемте к самому главному. Семен Ильич Пральников — гениальный ученый. Его работы расцениваются многими как переворот в современном естествознании. Не так ли?

— Несомненно! — подтвердил Дирантович.

— Однако, насколько мне известно, работы эти еще очень далеки от своего завершения. Более того, некоторыми выдающимися физиками теория Пральникова вообще оспаривается. Если я ошибаюсь, поправьте меня.

— Да, это так. Пока нет экспериментальных данных...

— Понимаю. Теперь скажите, найдется ли сегодня ученый, который после смерти Пральникова примет от него эстафету?

Дирантович развел руками.

— Вы задаете странный вопрос. В науке никогда ничего не пропадает. Рано или поздно найдется человек, который, учтя работы Пральникова...

— Это все не то! Есть ли у вас уверенность, что, хотя бы в следующем поколении, появится человек, в точности обладающий складом ума Пральникова, его парадоксальным взглядом

на мир, его сокрушительной иронией, наконец, его несносным характером. Короче — абсолютная копия Семена Ильича?

— Такой уверенности нет, вы же сами сказали, что природа защищает себя от повторения пройденного.

— Природа слепа. Она действует методом проб и ошибок. А мы можем пробовать, не ошибаясь, дав вторую жизнь Пральникову.

— Не знаю... — задумчиво сказал Дирантович. — Не знаю, хватит ли и второй жизни Семену Пральникову.

— Вы считаете его работы бесперспективными? — понтересовался Фетюков.

— Нет. Пожалуй... скорее чересчур перспективными. Впрочем... в данном случае мое суждение не так уж обязательно. Поверьте Никанор Павлович, что меня больше смущает техника вашего эксперимента, чем уравнивания Пральникова.

— На этот счет можете не беспокоиться. Техника достаточно отработана.

— Вот об этом и нужно было говорить, — желчно заметил Фетюков, — о технике эксперимента, а не о каких-то хромосомах.

— Без хромосом нельзя, — ответил Смарыга. — Все дело в хромосомах. Однако я согласен учесть сделанные замечания и продолжать дальше, как выразился Арсений Николаевич, на более строгом уровне. В конце шестидесятых годов доктор Гурдон, работавший в Оксфордском университете, произвел примечательный эксперимент. Он взял неоплодотворенное яйцо самки жабы и убил в нем ядро с материнской генетической наследственностью. Затем он извлек ядро из клетки кишечного эпителия другой жабы и ввел его в цитоплазму яйца, лишнего ядра. В результате развился новый индивид, который унаследовал все генетические признаки жабы, у которой была взята клетка кишечника. Можно сказать, что эта же самая жаба начала новую жизнь. Понятно?

— Понятно, — ответил Дирантович. — Но ведь то была жаба, размножающаяся весьма примитивным образом, тогда как...

— Мне ясны ваши сомнения. Пользуясь принципиально той же методикой, я произвел несколько десятков опытов на млекопитающих, и каждый раз с неизменным успехом.

— Но здесь речь идет о человеке! — вскричал Фетюков. — Есть же разница между сочинениями фантастов и...

— Я не пишу фантастические романы, да и не читаю их тоже, кстати сказать, все обстоит гораздо проще. Оплодотво-

ренное таким образом яйцо должно быть трансплантировано в женский организм и должно пройти все стадии нормального внутриутробного развития.

— Помилуйте! — сказал Дирантович. — Но кто же по-вашему согласится...

— Стать женой и матерью академика Пральникова?

— Вот именно!

— Этот вопрос решен. — Смарыга указал на сидевшую в углу сестру. — Нина Федоровна Земцова. Она уже дала согласие.

— Вы?!

Сестра покраснела, смущенно оправила складки халата и кивнула головой.

— Вы замужем?

— Нет... Была замужем.

— Дети есть?

— Нет.

— Вы ясно представляете себе, на что дали согласие?

— Представляю.

— Тогда разрешите узнать, что толкнуло вас на это решение?

— Я... Мне бы хотелось не говорить об этом.

— Хорошо.

Дирантович откинулся на спинку кресла и задумался, скрестив руки на груди. Фетюков достал из кармана брюк перочинный ножик в замшевом футляре. Перепробовав несколько хитроумных лезвий, он наконец нашел нужное и занялся маникюром. Врач закурил, пряча сигарету в кулаке и пуская дым под стол.

Смарыга весь как-то сник. От бывшего задора не осталось и следа. Сейчас в его глазах, устремленных на Дирантовича, было даже что-то жалкое.

— Так... — Дирантович повернулся к Смарыге. — Вам, очевидно, придется ответить на много вопросов, но первый из них, основной. До сих пор такие опыты на людях не производились?

— Нет.

— Тогда скажите, представляет ли ваш эксперимент какую-нибудь опасность для здоровья Нины?..

— Федоровны.

— Спасибо! Нины Федоровны.

— Нет, не представляет.

— А вы как думаете? — обратился Дирантович к врачу.

— Видите ли, я только терапевт, но полагаю...

— Благодарю вас! Значит, прошу обеспечить заключение квалифицированного специалиста.

— Оно уже есть,— ответил Смарыга.— Профессор Черемшинов. Он же будет ассистировать при операции и вести дальнейшее наблюдение.

— Допустим. Теперь второй вопрос, иного рода. Насколько я понимаю, полная генетическая идентичность, о которой вы говорили, имеет место и у однояйцевых близнецов?

— Совершенно верно!

— Однако известны случаи, когда такие близнецы, будучи в детстве похожими как две капли воды, в результате различных условий воспитания приобретают резкие различия в характерах, вкусах, привычках, словом во всем, что касается их индивидуальности.

— И это правильно.

— Так какая же может существовать уверенность, что дубликат Семена Ильича Пральникова будет действительно идентичен ему всю жизнь? Не можете ли вы полностью повторить условия, в которых рос, воспитывался и жил прототип?

— Я ждал этого вопроса,— усмехнулся Смарыга.

— И что же?

— А то, что мы вступаем здесь в область спорных и недоказуемых предположений. Наследственность и среда.

— Ага! — сказал Фетюков.— Спорных и недоказуемых. Я прошу вас, Арсений Николаевич, обратить внимание...

— Да,— подтвердил Смарыга,— спорных и недоказуемых. Возьмем, к примеру, характер. Это нечто такое, что дано нам при рождении. Индивидуальные черты характера проявляются и у грудного ребенка. Этот характер можно подавить, сломать, он может претерпеть известные изменения в результате болезни. Но кто скажет с полной ответственностью, что когда-либо удалось воспитать другой характер у человека?

— Вы, вероятно, не читали книг Макаренко,— вмешался Фетюков.— Если бы читали...

— Читал. Но мы с вами, к сожалению, говорим о разных вещах. Можно воспитать в человеке известные моральные понятия, привычки, труднее — вкусы, и совсем уж невозможно чужой волей вдохнуть в него способности, темперамент или талант, все, что принято называть искрой божьей.

— Ну вот, договорились! — сказал Фетюков.— Искра божья!

— Пойдите! — недовольно поморщился Дирантович.— Не

придирайтесь к словам. Продолжайте, пожалуйста, Никанор Павлович.

— Спасибо! Теперь я готов ответить вам на вопрос о близнецах. Посредственность более всего восприимчива к влиянию среды. Весь облик посредственного человека складывается из его поступков, а на них-то легче всего влиять. Предположим, один из близнецов работает заведующим складом, другой же остался служить в армии. Действительно, по прошествии какого-то времени их характеры могут потерять всякое сходство. И причина здесь кроется не в каких-то чудодейственных свойствах среды, а в изначальной примитивности этих характеров.

— Н-да! — почесал затылок Дирантович. — Теорийка! Вот куда вы гнете? Подавай врожденную одаренность, и никаких гвоздей! Значит, по-вашему, будь у Шекспира одноййцевый близнец — он бы обязательно тоже?..

— При одном условии.

— Каком же?

— При условии, что его способности были бы вовремя выявлены. Кто знает, сколько на нашем пути встречается не нашедших себя Шекспиров? В случае с Пральниковым все обстоит иначе. Мы знаем, что он гениальный ученый. Знаем область, в которой он себя проявил. Следовательно, с первых лет воспитания мы можем направить его дубликат по уже проторенной дороге. Больше того: уберечь его от тех ошибок, которые совершил Семен Пральников в поисках самого себя. Никаких школ, индивидуальное, направленное образование с привлечением лучших специалистов. Правда, это будет стоить денег, однако...

— Однако не надейтесь, что Комитет будет финансировать вашу затею, — перебил Фетюков.

— Почему же это?

— Потому что таких статей расходов в перспективном плане исследовательских работ не существует.

— Планы составляются людьми.

— И утверждаются Комитетом!

— Постойте! — вмешался Дирантович. — Этот вопрос может быть решен иначе. Если академик Пральников продолжает существовать, хотя и в э... другой ипостаси, то нет никаких оснований к тому, чтобы не выплачивать ему академический оклад. Не правда ли?

— Конечно, — сказал Смарыга.

— Я думаю, что мне удастся получить на это санкцию президиума. Что же касается прочих дел, квартиры, книг, ну и во-

обще всякой личной собственности, то Комитет должен позаботиться, чтобы все это осталось пока в распоряжении Нины Федоровны, в данном случае, как опекуниши. Согласны?

— Простите, Арсений Николаевич,— опешил Фетюков.— Вы что же, уже считаете вопрос о предложении профессора Смариги решенным?

— Для себя — да, а вы?

— Я вообще не вправе санкционировать такие решения. Они должны приниматься, так сказать, только на высшем уровне.

— Вот те раз! — сказал Смарига.— Для чего же вы тут сидите?

— Я доложу начальству,— вздохнул Фетюков.— Пойду звонить.

Дирантович подошел к окну.

— Ну и погода! Вот когда-нибудь в такой вечер и я, наверное...

— Не волнуйте себя зря,— сказал Смарига.— Статистика показывает, что люди вашего возраста обычно умирают под утро, когда грусть природы по этому поводу мало ощущается.

— А вы когда-нибудь думаете о смерти?

— Если бы не думал, мы бы с вами сейчас здесь не сидели.

— Я другое имел в виду. О своей смерти?

— О своей смерти у меня нет времени думать. Да и ни к чему это.

— Неужели вы не любите жизнь?

— Как вам сказать? Жизнь меня не баловала. Я люблю свою работу, но ведь все, что мы делаем, как-то остается и после нас.

— Это не совсем то. А вот и товарищ Фетюков. Ну что, дозвонились?

— Дозвонился. Если Академия наук берет на себя ответственность за проведение всего эксперимента, то Комитет не видит оснований препятствовать. Разумеется, на тех условиях, о которых говорил Арсений Николаевич.

— Отлично!

— Кроме того, нам нужно составить документ, в котором...

— Составляйте! — перебил Дирантович.— Составляйте документ, я подлишу, а сейчас,— он поклонился,— прошу извинить, дела. Желаю успеха!

— Я могу вас подвезти,— предложил Фетюков.

— Не нужно. Машина меня ждет.

Фетюков вышел за ним, не прощаясь.

После их ухода Смарыга несколько минут молча глядел из-под лохматых бровей на Земцову.

— Ну-с, Нина Федоровна, — наконец сказал он, — вы-то не передумали?

— Я готова, — спокойно ответила сестра.

#### АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ДИРАНТОВИЧ

Семен Пральников. Он был моложе меня всего на десять лет, но мне всегда казалось, что мы — представители разных поколений. Трудно сказать, с чего началось это отчуждение. Может быть, толчком послужили те выборы в Академию, когда из двух кандидатов прошел он, а не я, но суть нашей антипатии друг к другу вызывалась более серьезными причинами. Мы с ним слишком разные люди, и в науке, и в жизни. Я экспериментатор, он — теоретик.

Для меня наука — упорный, повседневный труд, для него — озарение. Если прибегнуть к сравнениям, то я промываю золотоносный песок и по крупницам собираю драгоценный металл, он же искал только самородки и обязательно покрупнее. Мои опыты безукоризненно точны. Перед публикацией я проверяю результаты десятки раз, пока не появится абсолютная уверенность в их воспроизводимости.

Пральников всегда торопился. Может быть, он чувствовал, что в конце концов ему не хватит времени. Я из тех, чьи работы сразу попадают в учебники, они отлично укладываются в классические теории. Пральников же по натуре — опровергатель, стремящийся взорвать то, что построили другие. Жизнь таких людей — это путь на Голгофу. Чаще всего они, как Лобачевский, умирают отвергнутые официальной наукой, осужденные учителями гимназий. Если к ним и приходит слава, то посмертно. Пральникову повезло в одном: он родился в ту эпоху, когда экстравагантные теории быстро пробивают себе путь.

Моя неприязнь к Пральникову достаточно широко известна, и это обстоятельство накладывало на меня некоторые ограничения при решении судьбы эксперимента Смарыги. Мне не хотелось, чтобы отказ был превратно истолкован. Могло создаться впечатление, будто я намеренно мешаю Пральникову после его смерти. Достаточно того, что уже говорят за моей спиной. Все это ложь, я никогда не возглавлял никакой травли. Просто

некий журналист из недоучившихся физиков недобросовестно использовал мои критические замечания по одной из второстепенных работ Пральникова для развязывания газетной кампании, которая, впрочем, успеха не имела. Кстати, я был первым, кто не побоялся тогда поднять голос в его защиту.

Смарыга вызывал у меня симпатию, несмотря на его ужасающую бестактность. Я люблю напористых людей. Фетюков — ничтожество, о котором и говорить не стоило бы, но что поделаешь? Нам всем нужно как-то уживаться, иначе инфарктов не оберешься.

Спорить с дураками — занятие не только бесплодное, но и вредное для здоровья.

Я не верю в эксперимент Смарыги. Человеческая личность неповторима. Внутренний мир каждого из нас защищен некой незримой оболочкой. Нельзя испытать чужую боль, чужую радость, чужое наслаждение. Мы все — это капли разума с очень большим поверхностным натяжением, которое мешает им слиться в единую жидкость. Генетическая идентичность здесь тоже ничего не меняет. Семену Пральникову не легче и не труднее в могиле от того, что по свету будет ходить его точная копия. Все дело в том, что Семен Пральников мертв и его праху вообще уже недоступны никакие чувства. Тот, второй Пральников, будет новым человеком в своей собственной защитной оболочке. Возможна ли какая-то особая связь между ним и его прототипом? Может ли то, что пережил человек, стать частью генетической памяти? Сомневаюсь. Молодость всегда открывает для себя мир заново. Ведь даже Фауст — всего лишь второстепенный персонаж рядом с мудрым Мефистофелем, носителем разочарования, этой высшей формы человеческого опыта.

Каждый из нас, на протяжении своей жизни, тоже не остается идентичным самому себе. Вы помните? «Только змеи сбрасывают кожи, чтобы душа старела и росла, мы, увы, со змеями несхожи, мы меняем души, не тела». К сожалению, дело обстоит еще хуже. Тела тоже меняются. Наступает момент, когда мы с грустью в этом убеждаемся. Всякий человек создал какое-то представление о себе, так сказать, среднестатистический результат многих лет самоанализа. Понаблюдайте за ним, когда он глядит в зеркало. В этот момент меняется все: выражение лица, походка, жесты. Он подсознательно пытается привести свой облик к этой психологической фикции. Защитный камуфляж от неумолимой действительности.

Недавно аспиранты решили сделать мне подарок. Препод-

если фильм об академике Дирантовиче, снятый, как это сейчас называется, скрытой камерой. Притащили проектор, и моя особа предстала предо мной во всей красе. Великий боже! Не хочется вдаваться в подробности, к тому же болтливость — тоже результат распада личности под влиянием временных факторов, типично стариковская привычка.

Итак, я разрешил эксперимент Смарыги, считая неизбежным неудачный исход. Мне лучше, чем многим, известно, что отрицательный результат в научном исследовании иногда важнее положительного. В данном случае для меня он имел еще и особое значение. Мне хотелось самому убедиться, что из этого ничего не выйдет, и раз навсегда отбить охоту у других повторять подобные опыты. Меня пугают некоторые тенденции в современной генетике. Должны существовать моральные запреты на любые попытки вмешаться в биологическую сущность человека. Это неприкосновенная область. Идеи Смарыги таят в себе огромную потенциальную опасность. Представьте себе, что когда-нибудь будет установлен оптимальный тип ученого, художника, артиста, государственного деятеля, и их начнут штамповать по наперед заданному образцу. Нет, уж лучше что угодно, только не это!

Меня могут обвинить в непоследовательности: с одной стороны, не верю, с другой — боюсь. К сожалению, это так. Не верю, потому что боюсь, боюсь оттого, что не вполне тверд в своем неверии.

Неизвестно, доживу ли я до результатов эксперимента... Смарыга — первый, кто за ним?

После смерти Смарыги вся ответственность легла на меня, но еще при его жизни кое-что пришлось пересмотреть. Я считал, что все дело нельзя предавать широкой огласке. В частности, от молодого Пральникова нужно было скрыть правду. Иначе это могло бы повлиять на его психику и весь эксперимент стал бы, как говорится, недостаточно чистым. Поэтому невозможно было присвоить дубликату Семена Ильича имя и отчество прототипа. Смарыга в этом вопросе проявил удивительное упрямство. Пришлось решать, как выразился Фетюков, «в административном порядке». При этом мы учли желание матери назвать сына Андреем.

Андрею Семеновичу Пральникову, внебрачному сыну академика, была назначена академическая пенсия до получения диплома о высшем образовании. В самую же суть эксперимента были посвящены очень немногие, только те, кого это в какой-то мере касалось, в том числе кандидат физико-математи-

ческих наук Михаил Иванович Лукомский, на которого возложили роль ментора будущего гения.

Образно выражаясь, мы бросили камень в воду. Куда дойдут круги от него? Впрочем, я не из тех, кто преждевременно заглядывает в конец детективного романа. Развязка обычно наперед задумана, но она должна как-то вытекать из логического хода событий, хотя меня лично больше всего прельщают неожиданные концовки.

### МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЛУКОМСКИЙ

Мне было тридцать лет, когда умер Семен Ильич Пральников. Этот человек всегда вызывал во мне восхищение. Я часто бывал у него в институте на семинарах, и каждый раз для меня это было праздником. Трудно передать его манеру разговаривать. Отточенный, изящный монолог, спор с самим собой. Всегда на ходу, с трубкой в зубах, он с удивительной легкостью обосновывал какую-нибудь гипотезу, и вдруг, когда уже все казалось совершенно ясным, неожиданно становился на точку зрения воображаемого оппонента и разбивал собственные построения в пух и прах. Мы при этом обычно играли роль статистов, подбрасывая ему вопросы, которые он всегда выслушивал с величайшей внимательностью. В нем не было никакого высокомерия, но в спорах он никого не щадил. Больше всего любил запутанные задачи. Для нас, молодежи, он был кумиром. Как всегда, находились и скептики, считавшие, что он взялся за непосильный труд, что его теория, родившаяся «на кончике пера», будет еще много лет ждать подтверждающих ее фактов и что попытки делать столь широкие обобщения — преждевременны. Может быть, кое в чем они были и правы. Несомненно одно: смерть Семена Ильича нанесла тяжелый урон науке.

Я был несказанно удивлен и обрадован, когда Дирантович сказал, что точная копия Пральникова скоро вновь появится на свет и что мне поручаются заботы о его образовании. Такому делу не жалко было посвятить всю свою жизнь!

О многом приходилось подумать. Школа с ее растянутой программой и ограниченной творческой самостоятельностью учащихся явно не подходила.

Свою задачу я видел в том, чтобы с младенческих лет привить Андрею математическое мышление, вызвать интерес к чи-

сто умозрительным проблемам, дать основательную физико-математическую подготовку и широкий кругозор в естественных науках. По-моему, это основное, чем должен обладать будущий теоретик.

Кое-чего мне удалось добиться. Раньше, чем Андрей научился читать, он уже совершенно свободно оперировал отвлеченными понятиями и умел находить общие решения частных задач, все это, разумеется, в примитиве, но у меня не было сомнений в его дальнейших успехах. Способности у него были великолепные.

К двенадцати годам мы с ним, в общем, прошли по математике, физике и химии весь курс средней школы. Теперь нужно было позаботиться не столько о расширении знаний, сколько об их углублении.

К сожалению, иначе обстояло дело с другими предметами. Я привлек лучших преподавателей, но все они, в один голос, жаловались на его неспособность запоминать хронологические даты, географические названия и даже усваивать правила орфографии и пунктуации.

К тому же, Андрей начал читать все, без разбора. Я пытался хоть как-то руководить выбором книг для него, но тут наткнулся на редкое упрямство. Он мне прямо заявил, что это не мое дело.

Однажды я застал его за чтением книги по квантовой механике. Я отобрал книгу и сказал:

— Не забивай себе голову вещами, в которых ты разобратся не можешь.

— Почему?

— Потому что квантовая механика оперирует такими математическими понятиями и методами, которые тебе еще недоступны.

Он с явной насмешкой поглядел на меня и ответил:

— А я пытаюсь понять, что тут написано словами.

— Ну и что же?

— Почти ничего не понял.

Я рассмеялся.

— Вот видишь! Зачем же попусту тратить время? Потерпи немного. Скоро все это станет твоим достоянием. Ты овладеешь современным математическим аппаратом, и перед тобой откроется новый изумительный мир во всей его неповторимой сложности.

Он как-то очень грустно покачал головой.

— Нет, я не хочу такого мира, который нельзя объяснить

словам: Мир, ведь он для всех, а не только для тех, кто владеет этим аппаратом.

Я, как мог, постарался объяснить ему особенности процесса познания в новой физике. Рассказал о принципе неопределенности, упомянул работы Семена Ильича. Он заинтересовался, спросил:

— А мой отец был действительно гениальным ученым?

— Конечно.

— А я мог бы прочесть его работы?

— Пока — нет, для этого у тебя еще слишком мало знаний, но о нем самом я тебе могу кое-что дать.

На следующий день я принес ему книгу о Семене Пральникове. Он ее прочитал в один присест и несколько дней после этого был очень рассеянным на уроках.

— О чем ты думаешь? — сделал я ему замечание, когда он переспросил условия задачи.

— О своем отце.

Между тем жалобы других учителей на Андрея становились все более настойчивыми, и я решил посоветоваться с психиатром. Мне порекомендовали представителя какой-то новой школы.

Я его привез на дачу в Кратово и под благовидным предлогом оставил в саду наедине с Андреем. Предварительно я сказал ему, что это мой воспитанник, по-видимому, в перспективе выдающийся математик, и объяснил, что меня в нем смущает.

Беседовали они больше часа.

По дороге на станцию мой новый знакомый упорно молчал. Наконец я не выдержал и спросил, что он думает об Андрее.

Его ответ несколько обескуражил меня.

— Вероятно, то, что вы бы не хотели услышать.

— Например?

Он, в свою очередь, задал вопрос:

— Вы считаете его действительно талантливым мальчиком?

— Несомненно.

— Так вот. Все талантливые люди, подобно бегунам, делятся на стайеров и спринтеров. Одни в состоянии скрупулезно рассчитывать свои силы на марафонских дистанциях, другие же могут дать все, на что способны, только в коротком рывке. Первые всегда верят в здравый смысл, вторые — в невозможное. Ваш воспитанник типичный спринтер. Из таких никогда не получаются экспериментаторы. Он для этого слиш-

ком нетерпелив и неуравновешен. Вы жалуетесь на то, что он не может ничего зазубрить. Для людей его склада это очень характерно. Воспитание тут вряд ли может что-нибудь дать. Различия, о которых я говорил, обуславливаются типами нервной системы.

— Следовательно?

— Следовательно, я могу вам только сочувствовать. У вас сложное положение. Удастся ли вам подготовить нового рекордсмена или все надежды лопнут, как мыльный пузырь, зависит не от вас, а от него.

— Как это понимать?

— Я уже сказал, вера в невозможное. Ясно только одно: чем больше вы будете на него давить, тем меньше шансов, что такая вера появится. К сожалению, ничего больше я вам сказать не могу.

Мне от этого было не легче.

#### ВИКТОР БОРИСОВИЧ КАШУТИН

Историю Андрея Пральникова я узнал перед его поступлением в университет. Михаил Иванович Лукомский пришел ко мне в деканат по поручению Дирантовича. Он посвятил меня во все подробности и просил принять Пральникова без экзаменов на первый курс физического факультета. Это было связано с некоторыми трудностями. Пральников сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости с посредственными оценками по гуманитарным предметам. Кроме того, ему было всего 15 лет.

Для соблюдения хоть каких-то формальностей, мы решили устроить собеседование по профилирующим дисциплинам, и на основании несомненно выдающихся способностей добиться соответствующего решения. Лукомский просил меня держать в строжайшей тайне проводящийся эксперимент и обещал, что в случае каких-либо возражений ректора Дирантович все уладит.

Беседа должна была проходить у меня дома.

Честно говоря, я волновался, зная, кого мне предстоит экзаменовать. Во всяком случае, я позаботился о том, чтобы наша встреча прошла в самой непринужденной обстановке.

Ольга Николаевна, как всегда, оказалась на высоте. Изысканный холодный ужин, бутылка легкого итальянского вина, и чай — ее знаменитый торт. Для Лукомского — кофе с коньяком. Я знаю его слабость.

Они пришли вместе. Лукомский, видимо, был слегка обеспокоен, Пральников же казался просто напуганным.

Ольга Николаевна почувствовала создавшуюся напряженность и начала потчевать гостей. Она с материнской заботливостью накладывала Пральникову в тарелку кусочки повкуснее и собственноручно налила ему фужер вина, который он осушил залпом.

Я уже было решил приступить к делу, как Пральников спросил:

— Послушайте, а это что там в пузатой бутылке?

— Коньяк.

— Можно попробовать?

Я посмотрел на Лукомского. Тот пожал плечами. Ольга Николаевна и тут проявила свойственный ей такт. Она достала из буфета самую маленькую рюмку. Я выполнил роль виночерпия и поднялся с бокалом в руке.

Я говорил о славной когорте физиков, пробивающих путь к познанию мира, о том, что все мы — наследники Ньютона, Максвелла, Эйнштейна, Планка...

— Птоломея, — неожиданно прервал меня Пральников. Он уже каким-то образом умудрился опорожнить свою рюмку.

— Если хотите, то и Птоломея, и Лукреция Кара, и многих других, которые...

Он снова не дал мне договорить.

— Кара оставьте в покое! Он все-таки чувствовал гармонию природы. Ньютон, пожалуй, тоже. А вот вы все — прямые наследники Птоломея.

— Это с какой же стороны?

— С любой. Птоломей создал ложное представление о вселенной, но к нему на помощь пришла математика. Оказалось, что и в этом мире, ограниченном воображением тупицы, можно удовлетворительно предсказывать положение планет. Сейчас такой метод стал господствующим в физике. Вы объясняете все, прибегая к математическим абстракциям, заранее отказавшись от возможности усваивать элементарные понятия.

Тут вмешался Лукомский.

— Не забывай, Андрей, что при переходе в микромир наши обычные представления теряют всякий смысл, но заменяющие их математические абстракции все же дали возможность осуществить ядерные реакции, которые...

Пральников расхохотался.

— Умора! Тоже нашли пример! Да спокон веков люди производят себе подобных, хотя до сих пор никто не понимает ни

сути, ни происхождения жизни. Какое все это имеет отношение к познанию истины?

Этого уже не выдержала Ольга Николаевна. Она биолог и никогда не позволяет профанам вторгаться в священную для нее область.

— Охотно допускаю, что вы не представляете себе происхождения жизни,— сказала она ледяным тоном.— Что же касается ученых, то у них по этому поводу не возникает сомнений.

— Коацерватные капельки?

— Хотя бы.

— Так...— сказал он, вытирая ладонью губы.— Значит, коацерватные капельки. Пожалуй, на уровне знаний прошлого века не так уж плохо. Сначала капелька, потом оболочка, цитоплазма, ядро. Просто и дешево. Но как быть сейчас, когда ученым,— он очень ловко передразнил интонацию Ольги Николаевны,— когда ученым известна, и то не до конца, феноменальная сложность структур и энергетических процессов клетки, процессов, которые мы и воспроизвести-то не можем. Что ж, так просто, под влиянием случайных факторов они появились в вашей капельке?

Я видел, как трудно было сдерживаться Ольге Николаевне, и пришел к ней на помощь, используя, возможно, и не вполне корректный прием.

— Вы что ж, в бога веруете?

Он с каким-то озлоблением повернулся ко мне.

— Я ищу знания, а не веры. Верить все равно во что, хоть в сотворение мира, хоть в ваши капельки. Между абсурдом и нелепостью разница не так уж велика.

Лукомский еще раз попытался исправить положение.

— Зарождение жизни,— сказал он,— это антиэнтропийный процесс, где обычные вероятностные законы могут и не иметь места. Мы слишком мало еще знаем о таких процессах, чтобы...

— Чтобы болтать все, что придет на ум. Не так ли?

— Совсем не так!

— Нашли объяснение образованию симфонии из шума. Антиэнтропийный процесс! А дальше что? Вот вы,— он ткнул пальцем по направлению к Ольге Николаевне,— считать умеете?

— Думаю, что умею.

— Не в том смысле, сколько стоит эта рыба, учитывая ее цену и вес, а в том, сколько лет требуется, чтобы она появилась в общем процессе биологического развития.

— Мне не нужно это считать. Существует палеонтология, которая дает возможность хотя бы приблизительно установить...

— Что между теорией изменчивости и естественного отбора, с одной стороны, и элементарными подсчетами вероятности случайного образования сложных рациональных структур, с другой, непреодолимая пропасть. Тут уже антиэнтропийными процессами не отделаешься.

Я понял, что пора кончать и подмигнул Лукомскому.

— Ну что ж, — сказал он, вставая, — мы как-нибудь еще продолжим, наш спор, а сейчас разрешите поблагодарить. Нам пора.

Судя по всему, он был в совершенной ярости.

— Ну как? — спросил я Ольгу Николаевну, когда мы остались одни.

— Трудный ребенок! — рассмеялась она.

Думаю, что это было правильным определением. Насколько я знаю, Семен Пральников до самой смерти тоже оставался трудным ребенком.

Все же должен сознаться, что первая встреча с Андреем Пральниковым произвела на меня тягостное впечатление. Этот апломб невежды, этот гаерский тон могли быть лишь следствием нахватавшихся, поверхностных сведений и никак не свидетельствовали не только о сколько-нибудь систематическом образовании, но и об элементарном воспитании. Жаль только, что и тем и другим руководил такой уважаемый человек, как Михаил Иванович Лукомский. Будь моя воля, Андрею Пральникову не видать бы стен университета как своих ушей.

Однако Лукомский с Дирановичем проявили такую настойчивость, оказали такой нажим во всевозможных инстанциях, что в конце концов Пральников был зачислен студентом.

Учился Пральников хорошо, но без всякого блеска и, как студент, никакими выдающимися качествами не обладал.

Срыв произошел уже на пятом курсе, когда он вдруг заявил о своем намерении перейти на биологический факультет.

#### ЛЕНА САБУРОВА

Мы дружили с Андреем Пральниковым. Иногда мне казалось, что это больше, чем дружба... Видимо, я ошибалась.

Вначале он не привлекал моего внимания, может быть, потому, что был самым молодым на нашем курсе. Такой рыжий

паренек с веснушками. Держался всегда особняком, приятелей не заводил.

У нас говорили, что это сын знаменитого академика, что в детстве у него подозревали какие-то удивительные способности, нанимали специальных учителей, но надежд он как будто не оправдал.

Наше настоящее знакомство состоялось уже на 4-м курсе. Как-то после лекций он подошел ко мне в коридоре, страшно смущенный, комкая в руках какую-то бумажку и, запинаясь, сказал, что у него совершенно случайно есть лишний билет в кино, и что если я не возражаю...

Я не возражала.

В кино он сидел нахохлившись, как воробей, но в конце сеанса взял меня за руку, а провожая домой, даже пытался поцеловать. Я сказала, что не обязательно выполнять всю намеченную программу сразу. Он удивительно покорно согласился и ушел.

Спустя несколько дней он спросил меня, не собираюсь ли я в воскресенье на лыжах за город. Я собиралась.

Мы провели этот день вместе, и с тех пор начали встречаться очень часто.

Как-то я взяла два билета на органнйй концерт, один себе, другой для него. Когда я ему об этом сказала, он поморщился и процедил сквозь зубы:

— Ладно, если тебе это доставит удовольствие.

Я обиделась, наговорила ему много лишнего, и мы чуть не поссорились. Впрочем, на концерт пошли.

Минут десять он ерзал в кресле, сморкался, кашлял, словом, мешал слушать не только мне, но и всем окружающим. Затем вдруг вскочил и направился к выходу. Не понимая в чем дело, я побежала за ним.

Вот тут-то в фойе и разыгралась наша первая ссора.

Он орал так, что прибежала билетерша.

— Не смей меня больше сюда таскать! Это не искусство... это... это... черт знает что!

Я довольно спокойно сказала, что для того, чтобы понимать классическую музыку, нужна большая внутренняя культура, которую невозможно развить в себе без того, чтобы... и так далее.

Куда там!

— Культура?! — орал он пуще прежнего. — Посмотри в кино, как дикари слушают Баха. А кобры? У них что, тоже культура?!

Чужая злость всегда заразительна. Всякий крик меня обычно выводит из равновесия.

— Не понимаю, чего ты хочешь?! Чем тебе плоха музыка?

— А тем, что это примитивное физиологическое воздействие на эмоции, в обход разума.

— Да, если разум находится в зачаточном состоянии!

— В каком бы состоянии он ни находился! А если я не желаю постороннего вмешательства в свои эмоции?! Понимаешь, не желаю!

— Ну и сиди дома! Тебе это больше подходит.

— Конечно! Уж лучше электроды в мозг. Там хоть сам можешь как-то генерировать свои эмоции.

Я обозвала его щенком, которому безразлично на что лаять, и ушла в зал. Он принес мне номерок на пальто и отправился домой.

На следующий день он подошел ко мне в перерыве между лекциями и извинился.

С ним было пелегко, но наши отношения постепенно все же налаживались. Мы часто гуляли, много разговаривали. Мне нравилась парадоксальность его суждений, хотя я и понимала, что в 19 лет многие мальчишки разыгрывают из себя этаких базаровых.

Летом мы не виделись. Я уехала к тете на юг, он жил где-то под Москвой.

Осенью, при первой нашей встрече, меня поразила странная перемена в нем. Он был какой-то пришибленный. Мы сидели в маленьком скверике на Чистых прудах. Молчали. Вдруг он начал мне читать стихи, сказал, что написал их сам. Стихи были плохие, и я прямо заявила ему об этом.

Он усмехнулся и закурил.

— Странно! А я был уверен, что ты сразу признаешь во мне гения.

Мне почему-то захотелось его позлить, и я сказала, что такие стихи может писать даже электронная машина.

Он было понес очередную ахинею о том, что в наше время найдены эстетический и формальный алгоритмы стихосложения, поэтому почему бы машине и не писать стихи, что вообще стихи — сплошная чушь, одни декларации чувств, что в рассказе хорошего писателя куда больше мыслей, чем в целом томе стихов, но сбился и неожиданно спросил:

— А как ты думаешь, что такое гений?

Я ответила что-то очень шаблонное насчет пяти процентов гения и девяносто пяти процентов потения.

Он обозлился.

— Я серьезно спрашиваю! Мне нужны не педагогические наставления, а точная формулировка.

Я задумалась и сказала, что, вероятно, отличительная черта гения — это чувство ответственности перед людьми, и главное, перед самим собой за свое дарование.

Он обломил с куста прутик и долго рисовал им что-то на песке. Потом поднял голову и внимательно посмотрел мне в глаза.

— Может быть, ты и права. Кстати, мне нужно было тебе сказать, что я уезжаю.

— Куда это?

— В пустыню. Думать о своей душе, или об этом... как его? чувстве ответственности.

— Надолго?

— Не знаю.

— А как же университет?

— Подождет. Потом разберемся. Ну, пойдем, провожу тебя домой. Последний раз.

Он действительно уехал. На две недели, без разрешения декана, а когда вернулся, началась эта ерунда с переводом на биофак. Конечно, никакого перевода ему не разрешили, но крику было много. Говорят, сам Дирантович занимался этим делом. Он у него кем-то вроде опекуна.

С того вечера на Чистых прудах в наших отношениях что-то оборвалось. Не знаю, почему, но чувствую, что окончательно.

### НИНА ФЕДОРОВНА ЗЕМЦОВА

Боюсь, что я не сумею толком объяснить, почему я на это решилась. Мне всегда хотелось иметь ребенка, но я бесплодна. Никайор Павлович Смарыга и тот, другой профессор, объяснили мне, что единственный выход для меня — пересадка. Сказали, что это совершенно безопасно.

Я была старшей сестрой отделения, где лежал Семен Ильич Пральников. Я сама делала ему внутривенные вливания, ну и всякие другие процедуры. Он был очень нетерпеливым, плохо переносил боль и не подпускал к себе никого, кроме меня. Как-то мне попалась тупая игла, и он на меня так накричал, что у меня слезы на глазах появились. И тут он вдруг поцеловал мне руку и спросил:

— Нина Федоровна, вы знаете, о чем мечтает каждый мужчина?

Я сказала, что наверно, каждый о чем-то своем.

— Ошибаетесь. Каждый настоящий мужчина мечтает о такой жене, как вы.

— Почему же это?

— Потому, что вы лечите не только тело, но и душу.

Я разревелась, как девчонка. Уже тогда врачи говорили, что он безнадежен. Исхудал он ужасно, кости да кожа, но в лице что-то очень молодое. Никогда не скажешь, что ему 55 лет и что он знаменитый ученый. Просто несчастный паренек, которому еще нужны материнская ласка и уход. Вот тогда я и подумала, что мне бы такого рыжего, вихрастого сыночка. Так что, когда Смарыга предложил, я сразу согласилась. Говорили, что все это имеет большое значение для науки, но я, право, не из-за этого.

Беременность и роды были легкими.

О нас очень заботились, дали квартиру, большую пенсию. Я старалась тратить поменьше, знала, что это деньги Андриюшины, может они ему когда-нибудь понадобятся.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы Андрей рос, как все, ходил в садик, играл с другими детьми, но тут моей власти не было. Чуть ли не с пеленок начали натаскивать, как собачонку. Не по душе мне были все эти кубики с формулами, но Михаил Иванович Лукомский говорил, что так нужно.

А тут еще этот Фетюков повадился. Придет и сразу: «Ну, как наш гений?» Ноги в передней не оботрет, прямо в детскую прется. Все старается Андриюшу чем-нибудь позлить. Каждый раз обязательно до слез доведет.

Мне этот Фетюков сразу не понравился. Говорят, это он довел Смарыгу до инфаркта.

Я много раз просила Михаила Ивановича, чтобы запретили Фетюкову ходить к Андриюше, но тот только руками разводил. «У него, говорит, особые полномочия». Полномочия не полномочия, а в школу отдать тоже не разрешили. Начали ходить учителя на дом. Совсем Андрею голову задурили. Бывало, скажу ему: «Пойди, поиграй хоть во дворе, отдохни немного», а он: «Я играть не умею, лучше посижу, почитаю». Книг у нас тьма-тьмушая, все от покойного Семена Ильича остались.

Вообще-то Андриюша мальчик ласковый, меня любит, но больно они его науками затыркали.

Летом мы всегда выезжали в Кратово, там у Семена Ильича своя дача была. Так и на даче отдыха не бывало. Что ни

день, то Лукомский, то кто-нибудь еще. И все разговоры, разговоры. Так и маялись год за годом.

Раз приходит ко мне Михаил Иванович и говорит:

— Пора Андрея в университет отдавать.

Я аж руками всплеснула.

— Да разве такого несмышленого можно?! Ему же еще и пятнадцати лет полных нету.

А он только засмеялся.

— Ваш несмышленыш знает больше иного студента третьего курса. У него выдающиеся математические способности, не забываете, кто он. А что касается пятнадцати лет, то время терять незачем. Этот вопрос обсуждался и уже решен.

Ну, решен, так решен. Меня в таких делах они вообще никогда не спрашивали.

Поступил Андрей. Говорят, без экзаменов приняли.

Стало как-будто легче. Ходит на лекции, делает домашние задания, все-таки режим какой-то человеческий. Стал в кино ходить, гулять, зимой на лыжах. Четыре года проучился, все хорошо.

И вдруг, как снег на голову. Прихожу домой, Андрей нет. На столе письмо. Я его сохранила, вот оно:

Мамочка, дорогая!

Прости меня, что заставляю тебя волноваться, но мне самому нелегко. Дело в том, что я все знаю. Неважно, кто мне об этом сказал, я ему дал честное слово не называть его имени.

Я уезжаю. Мне нужно побыть одному и о многом подумать.

Пойми меня правильно. В моих представлениях отец всегда был чем-то недостижимым, гениальным ученым, может быть, и не вполне оцененным современниками, но на голову выше всех этих дирантовичей, лукомских, кашутиных и прочих. Я же — мальчишка, способный лишь более или менее сносно усваивать чужие лекции.

И вдруг выясняется, что я — это он.

Здесь какая-то трагическая ошибка. Я не чувствую в себе мощи титана и всю жизнь буду мучиться сознанием, что от меня ожидают того, чего я дать не могу. Судя по всему, из меня выйдет очень посредственный физик, и жить, постоянно оглядываясь на собственную тень, зовущую к подвигам в науке, — это такая пытка, которая мне не по силам.

Где-то был допущен просчет, и я стал его жертвой. Не беспокойся, родная, я с собою ничего не сделаю. Просто мне нужно хорошенько подумать. Я тебя ни в чем не обвиняю и по-прежнему люблю, только не мешай мне принять решение, и никому ничего не говори.

Андрей.

Я вся обрелась. Места себе не находила, хотела бежать к Лукомскому, но побоялась, что Андрюша рассердится. Сначала ломала себе голову, кто мог такую подлость сделать, а потом догадалась. Кроме, как Фетюкову, — некому. Он с самого начала за что-то невзлюбил нас обоих. Одно время, слава богу, совсем перестал ходить. А тут, не прошло и трех дней — появляется, спрашивает, где Андрей.

Я его дальше порога не пустила и сказала, что Андрюша уехал в Тулу к моему брату. «Зачем?» — спрашивает, я говорю: «По семейным делам». А он с такой ухмылочкой: «Что еще за семейные дела появились?» Я сказала: «Вас это не касается» — и выставила.

Вернулся Андрей через две недели, лица на нем не было. Я его обняла, заплакала, говорю: «Ну, как сынок? Что теперь делать будем?» — «Ничего, — говорит, — перезимуем».

Ну, перезимуем, так перезимуем. Больше он мне насчет этого ни одного слова не сказал. Даже про то, что он собирался куда-то переводиться, стороной узнала. Хорошо, Лукомский его отговорил. Все-таки четырех лет учения жалко. Да и сам он, вижу, немного успокоился.

Кончил Андрюша университет, отпраздновали. Его к себе на работу сам Дирантович взял, приезжал к нам, мне руку поцеловал. «Не беспокойтесь, — говорит, — все будет в порядке, готовьтесь скоро диссертацию обмывать».

Только после этой истории какой-то не такой стал Андрюша. Ходит на работу, вечером телевизор смотрит или читает, но жизни в нем прежней нету. Вялый, что ли, не могу объяснить.

Хоть бы женился, может все-таки веселее бы стал.

## РАЗВЯЗКА

Аплодисментов не было. Делегаты международного конгресса покидали зал молча. Невольная дань уважения побежденному соратнику.

Андрей Пральников стоял у доски, судорожно сжимал в руке указку. Сейчас, когда уже все было кончено, на смену злomu азарту пришла тупая усталость.

Дирантович поднялся с председательского кресла и вынул из уха микрофон слухового аппарата. Двое аспирантов услужливо подхватили его под руки и повели через служебный ход. На дороге он остановился и еще раз внимательно поглядел на развешанные листы ватмана с причудливой вязью уравнений. В фойе его сразу окружили. Из толпы любопытных, энергично работая локтями, пробрались вперед корреспондент международного агентства и Фетюков. О, это был совсем другой Фетюков! Вместо былой спортивной подтянутости, появилась неприужденная сановитость, которая дается только долгими годами успеха. Солидная плешь придала лицу чисто сократовское глубокомыслие. Одет он был по-прежнему элегантно, но уже без всякого признака дурного вкуса. На пальце тонкое обручальное кольцо. Чувствовалось, что все его жизненные планы выполняются с неукоснительной последовательностью.

— Мировая сенсация! — обратился корреспондент к Дирантовичу. — Сын против отца! Ничего не пощадил, камня на камне не оставил. Вы могли бы прокомментировать это событие?

— Что ж тут комментировать? Академик Пральников был настоящим ученым. Я уверен, что появившись у него самого хоть малейшая тень сомнения, он бы поступил точно так же. Не нужно забывать, что доклад, который мы сейчас слышали, построен на очень оригинальной интерпретации новейших экспериментальных данных, и нужен был незаурядный талант Андрея Пральникова, чтобы...

— Положить самого себя на обе лопатки, — пробормотал Лукомский.

Корреспондент обернулся к нему:

— Значит, слухи, которые ходили в свое время, имеют какие-то основания?

— Какие слухи?

— Насчет нескольких необычных обстоятельств появления на свет Андрея Пральникова.

— Чепуха! — сказал Дирантович. — Никаких оснований под собой ваши слухи не имеют. Мы все появляемся на свет э... весьма тривиальным образом.

— Но что могло заставить молодого Пральникова взяться именно за эту работу? Ведь, что ни говори, роль отцеубийцы... К тому же, честно говоря, меня поразил резкий, я бы даже сказал, враждебный тон доклада.

— Не знаю. Тут уже чисто психологическая задача, а я, как известно, всего лишь физик.

— А вы как думаете?

— Вера в невозможное, — ответил Лукомский. — Боюсь, что не сумею разъяснить.

— И разъяснять нечего, — авторитетно изрек Фетюков. — Почитайте Фрейда, Эдипов комплекс.

Дирантович улыбнулся, но ничего не сказал.

## эпилог

Письмо заслуженного деятеля науки профессора В. Ф. Черемшинова вице-президенту Академии наук А. Н. Дирантовичу.

Глубокоуважаемый Арсений Николаевич!

Я должен выполнить последнюю волю Никанора Павловича Смарыги и сообщить вам некоторые дополнительные сведения о проведенном эксперименте. Надеюсь, Вы меня правильно поймете и не будете в претензии на то, что в течение 23 лет я хранил по этому поводу молчание.

В тот день, когда Н. Ф. Земцовой должны были сделать пересадку, лаборантка, ехавшая из лаборатории в больницу, забыла в трамвае пакет, в котором находился препарат клеток академика Пральникова.

Все попытки разыскать пропажу не увенчались успехом.

Семена Ильича к тому времени уже кремировали.

Трудно передать отчаяние Никанора Павловича. Ведь этот эксперимент был завершением работы, на которую он потратил всю свою жизнь. Вы знаете, с каким трудом ему удалось добиться разрешения провести такой опыт на человеке. Смарыга прекрасно понимал, что если бы не ореол, окружавший имя академика Пральникова, ему бы пришлось еще долго ждать подходящего случая.

Мы приняли решение сообща.

Опыт был поставлен, причем в качестве донора выбран сторож, работавший в лаборатории Смарыги. У него была та же пигментация волос, что и у академика Пральникова.

Таким образом, в сыне Земцовой воплощен не всемир-

но-известный ученый Пральников, а Василий Кузьмич Лягин, умерший десять лет назад от пневмонии.

Думаю, что от этой замены эксперимент Смарыги не потерял огромного научно-познавательного значения, каким, по-моему мнению, он несомненно обладает. По существу, решалась все та же задача: наследственность и среда, но в еще более строгих начальных условиях. Мы предоставили ничем не примечательному человеку возможность проявить дарования, может быть, скрытые в каждом из нас.

Поэтому мы решили хранить все в тайне до выяснения результатов эксперимента.

К сожалению, Никанор Павлович уже никогда не узнает, чем он окончился. Что же касается меня, то я вполне удовлетворен.

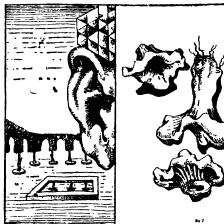
Можете судить о моем поступке, как вам угодно, но вины своей я тут не вижу.

Ваш покорный слуга

В. Черемшинов

---

## СТРАНА ИНФОРΙΑ



По моим расчетам, я давно уже должен был выйти к станции, но лес и не думал редеть. Я устал и в душе проклинал за-тею с грибами. Увлечшись рыжиками да маслятами, я умудрился отстать от своих. Недоставало еще заблудиться!

Я съел на ходу несколько сыроежек, и этим слегка заглушил голод.

Но вот наконец просветы между деревьями стали больше, и откуда-то потянуло еле уловимым запахом дыма. «Жгут листья. Наверное, на станции», — вздохнул я с облегчением.

Но это оказалась не станция, а какой-то незнакомый мне городок. Вдоль главной улицы выстроились аккуратные домики под разноцветными остроконечными крышами.

Нет, это была не станция! И не листья жег в палисаднике человек небольшого роста, а какие-то ленты, шипевшие и сворачивавшиеся в огне, словно змеи.

Я подошел поближе.

У костра стоял не мальчишка, как мне показалось вначале, а взрослый мужчина, но ростом он был едва мне по пояс.

— Что вы жжете? — спросил я, остановившись.

— Это? — у человечка был приятный голос, а движения точны и гармоничны. Он толкнул палкой в костер несколько лент, выпавших из огненного круга, и сказал. — Это инфория.

— Инфорния? — мне показалось, я ослышался.

— Ну да, старая информация. Уже использованная, — счит нужным пояснить маленький человек, глянув на мое вытянувшееся лицо.

— Понятно, старая информация, никому не нужная, — бодро сказал я, подумав, как он странно одет.

— Вы, должно быть, нездешний?

— Нездешний. Не скажете ли, где тут у вас можно перекусить? А то пока доберусь до электрички...

— Ближайший пункт питания — за углом налево.

— Благодарю.

В ажурной ограде палисадника мне начали чудиться непонятные письма. Не отрывая взгляда от иероглифов, образованных искусно изогнутыми металлическими прутьями ограды, я сделал шаг назад, к выпуклой пластиковой дорожке.

— Но я вам не советую туда, — сказал мне вдогонку человек. — Там подают несвежую информацию.

— А где же подают... свежую? — растерянно спросил я.

— Вы, наверно, из столицы. Там, конечно... — человек двинул палкой так, что искр взлетел в вечеряющее небо. — А здесь... — он махнул свободной рукой. — Попробуем все-таки.

На крыльцо игрушечного домика вышла прехорошенькая девушка — точно вдруг ожила кукла, которую я купил вчера дочери.

— Оль, — сказал маленький человек, — проводи гостя в центральный инфор.

— Хорошо. — Голос девушки звучал, как серебряный колокольчик. Она легко сбежала с крыльца.

Мы шли довольно долго. Я всю глядел на островерхие домики, сложенные из неизвестного мне материала.

— Что это? — спросил я, потрогав пальцем стенку двухэтажного строения — я мог бы, кажется, дотянуться рукой до его шпиля.

— Окаменевшая инфорния. Ее прессуют в брикеты, — пояснила Оль.

«И она тоже. Куда я попал! Дом сумасшедших — это можно понять. Но целый город, населенный сумасшедшими?!»

— Должно быть, неплохой материал, — решил я поддерживать разговор.

— Из него делают все, — сказала Оль.

— Прочный?

— Не всегда, — покачала головкой Оль. — Бывает, попадает недобросовестная информация.

— Что же тогда?

— Брикет рассыпается на мелкие кусочки. Однажды у нас целый дом рухнул из-за этого.

— Целый дом! Ай-яй-яй!

— Да, да! В брикетах, образующих фундамент, оказалась лживая инфория. Представляете?

Я сочувственно кивнул.

— После этого случая мы всегда проверяем инфорию. Иначе нельзя.

Оль то и дело здоровалась с такими же, как она, маленькими человечками. Встречные с любопытством поглядывали на меня.

Среди жителей городка я выглядел Голлиафом, хотя в обычных условиях не мог похвастаться ростом.

— Вот мы и пришли,— сказала Оль. Она указала на прозрачную дверь и убежала.

Я вошел в инфор. Голова моя почти касалась потолка, и я инстинктивно пригнулся. Стараясь — правда, безуспешно — не привлекать ничьего внимания, я взял крохотный поднос и пристроился в хвост очереди, выстроившейся у стойки. Самообслуживание! Уж оно-то, по крайней мере, было мне знакомо по институтской столовой, и я немного приободрился. Сейчас перекушу и сразу двину на станцию. Воскресенье, электрички ходят поздно.

Однако еда, выставленная за витринами стойки, снова повергла меня в недоумение. Таких блюд я в жизни не встречал! Ядовито-красные кубики, синие шарики, зеленые треугольнички.

Когда подошла очередь, я с надеждой схватил белый обтекаемый предмет эллипсоидальной формы: яйцо! — но ощутил ладонью холодок металла. Тогда, махнув рукой, я наугад принялся уставлять свой поднос миниатюрными блюдами, стараясь не пропустить ни одного. В очереди зашептались:

— Смотрите, смотрите!

— Боже, какой он голодный!

Не подымая глаз, я пробирался по низкому залу. Отыскав наконец свободное местечко, я сел и попытался раскусить алый кубик. Попытка едва не стоила мне зубов. Мой сосед по столу, приоткрыв рот, воззрился на меня. Точно так же смотрела моя дочурка в зоопарке на венерианского ардарга, двоякодышащего гада.

— Извините, непривычная еда...— сказал я с жалкой улыбкой.

Человечек понимающе кивнул — точная копия того первого, встреченного мной, который жег за оградой извивающиеся ленты. Впрочем, по мне, все жители этого странного городка были братьями и сестрами.

— Смотрите,— проворковал мой сосед. Он осторожно взял тонкими пальчиками красный кубик и, пристав, поднес к моему виску.

Чудо! Я внезапно ощутил, как нечто постороннее властно входит в мое существо. Неведомые ритмы озаряли мой мозг, в ушах явственно отдавалось эхо дальней музыки, перед глазами замелькали огненные круги.

— Пожалуйста, придерживайте сами,— попросил человечек.

Постепенно в том, что мелькало перед глазами, я начал улавливать некий порядок. Я не мог бы, пожалуй, выразить это словами. Волны музыки, соединенные с волнами света, волны, невидимые и неслышные для окружающих, несли меня и баюкали, усталость таяла, как ледышка, брошенная в теплую воду, и даже голод начал утихать.

Музыка звучала громче — видения становились ярче. Это был чудесный сплав мощи и нежности, грусти и радости. Грохотали литавры, пели валторны, рыдала виолончель. Да нет, какие там литавры и виолончели! Это были неведомые музыкальные инструменты — мне, во всяком случае, до сих пор не приходилось слушать ничего подобного. А ведь наше любимое с дочкой занятие по вечерам — ловить и слушать по видеозорю симфоническую музыку...

Едва я вспомнил дочурку, как музыка начала утихать. Огненные круги бледнели, удаляясь.

Я попробовал получше прижать кубик к виску, но музыка умолкла. Я опустил кристалл на столтик.

— Ну, как инфория? — спросил мой сосед.

Мое молчание — я не пришел еще в себя — сосед расценил по-своему.

— Несвежая, наверно? — сочувственно сказал он. — Не столица, знаете ли... А вы попробуйте вот это,— сосед указал на яйцо, отлитое из легкого металла, похожего на алюминий.

— А что это?

— Информация о неустойчивых звездах! Мое любимое блюдо,— улыбнулся человечек.

Его любимое блюдо не было таким приятным, как первое. Впрочем, и остальные блюда тоже, но, странное дело, голода я больше не чувствовал. Когда я вышел на улицу, игрушечный

городок уже зажег вечерние огни. Меня все время не покидало ощущение, что подобный сказочный городок я уже видел где-то. Но где? Читали мы о нем с дочкой? Видели когда-то на экране? Я напрягал память,— тщетно.

Осторожно шагая по узким улочкам, я — каюсь — заглядывал в окна. Мне хотелось понять, чем живут эти люди. В чем смысл их существования?

В иных окнах я увидел знакомую картину. Человечек сидел, придерживая у виска кубик или шар, и лицо его хранило сосредоточенное, какое-то отсутствующее выражение. Такое лицо бывает у моей дочери, когда я рассказываю ей сказку...

Я уже догадался, что небольшие предметы правильной геометрической формы — это блоки информации. Институт, в котором я работаю, не один год бьется над созданием портативных блоков, на которые можно было бы записывать различные сведения. Представляете, какая это важная и полезная вещь для космонавтов? Вместо сотни тяжелых томов какой-нибудь энциклопедии им достаточно будет взять с собой в далекий полет, где на счету каждый грамм лишнего веса, вот такой маленький шарик или кубик. Да и на земле подобным блокам нашлось бы применение. Наш институт, казалось, уже у цели... Но вот этот кукольный народ нас опередил.

Нет, эти существа не люди, размышлял я, хотя внешне и похожи на них. Может ли человек жить одной только информацией? Как бы интересна и разнообразна она ни была!

Я обратил внимание на лозунги, выписанные пылающим неонов в ночном небе: «Дадим больше информации», «Вся информация — высшего качества» и прочее в том же духе.

Голова гудела от поглощенной в ужин информации. Мне необходимо было разобраться во всем. Расскажи такое друзьям — не поверят. Сотрудники в отделе, пожалуй, засмеют. Но ведь все это на самом деле! Вот я стою на оживленном перекрестке, мимо меня спешат прохожие. Подношу к уху часы — они тикают, как обычно. Сейчас половина девятого — осенью темнеет рано. Вот, могу даже ущипнуть себя за руку. Боль вполне реальна.

А может, космические пришельцы?! Нет, ерунда! У всех на виду, в пяти шагах от станции? И никто их не заметил, кроме меня? И потом, этот городок, кажется, не единственное их поселение. Они упоминали столицу. Значит, здесь, между лесом и линией электрички, располагается целая страна? Страна Инфория, которой нет на карте!

Навстречу мне не спеша шел человек — поверьте, я в душе не мог называть их иначе: слишком походили они на людей, но только будто в уменьшенном издании. Человек выглядел старым и умудренным жизнью. Он-то мне и нужен. Пусть наконец объяснит, где я.

Я нагнулся и взял старика за руку.

— Простите, мне нужно поговорить с вами,— сказал я. Старик, кажется, не удивился.

— Отчего же, обменяемся инфорней,— ответил он.

— Инфория, инфория,— пробурчал я.— Только о ней и слышу. Неужели у вас нет других тем для разговора?

— А что на свете важнее инфории? — возразил старик.

Каким-то образом мы очутились подле небольшой лужайки, освещенной полной луной. Жесткая трава доходила моему собеседнику чуть не до подбородка.

— Прекрасная инфория,— сказал он, поглаживая стебелек. Присмотревшись, я понял, что это не трава, а ленты, вроде тех, которые жег на костре первый встреченный мной человек. Только эти были зеленые, а те — желтые, поблекшие.

Ленты тихо шуршали под свежим ветерком, будто шепча что-то.

Лунные блики скользили по лицу старика, когда он поворачивал голову.

— Это что за ленты? — спросил я.

— Обычные перфоленты.

— Значит, на них записана информация?

— Конечно.

— Но какая?

— Разная,— пожал плечами старик. Он сорвал травинку — виловат, ленточку,— и попробовал ее на вкус.

— Ну, как травка? — глупо спросил я.

— Уже созрела,— серьезно ответил старик.— Пора косить.

— А потом что с ней делать?

— Ясно что — коров кормить.

— Коров... информацией?... растерялся я.

— А чем же еще? Только надо уловить момент, когда инфория созреет. Пропустишь срок — информация осыплется. Такие ленты никуда не годятся.

— И вы их выбрасываете?

— Сжигаем.

— Послушайте,— заговорил я.— Никак не могу взять в толк. Люди у вас живут информацией, животные — информацией. А как же насчет настоящей пищи?

— Инфорния и есть единственная настоящая пища,— ответил старик.— Посудите сами: разве не все на свете сводится к информации?

Мы шли теперь по тихой, скудно освещенной улочке, обсаженной неизвестными мне растениями. Я был начеку: в каждом кусте мне чудилось вместилище информации, в каждом дереве — инфор-блок.

— Скажите же, наконец! — взорвался я.— О какой информации вы все время толкуете? Не бывает ведь информации просто так. Она обязательно должна быть о чем-то. Так о чем же?

— Не все ли равно? — сказал странный старичок.— Разве, получая энергию, машина интересуется ее источником? Нет. Машине безразлично, что именно сгорает в ее топке, что именно приводит ее в движение — уголь, дрова или, если угодно, управляемая термоядерная реакция. Машине калории подавай, все остальное ей безразлично.

— Ну, какое-то топливо может оказаться непригодным,— пробормотал я, вконец сбитый с толку удивительной логикой собеседника.

— Вот-вот,— обрадовался старичок,— вы ухватили суть. То же самое с инфорнией. И она может оказаться непригодной для человека.

— Почему?

— Причин немало. Например, инфорния может оказаться несвежей... Вообще нет продукта более деликатного и скоропортящегося. Иногда попадаетесь инфорния, бедная витаминами.

— Как это?

— Ну, если она повторяет вещи и без того всем известные. Но самое ужасное — это ложь. Вам никогда не приходилось отравляться лживой информацией?

— Приходилось... В легкой форме,— пробормотал я.

— Ваше счастье, что в легкой,— сказал старичок.— Опасно также подавиться инфорнией...

— Подавиться?

— Это бывает, когда инфорнию быстро поглощают.

— Оставим машину и вернемся к человеку,— сказал я.— Неужели живой организм может питаться одной только информацией, и ничем больше?

— Нет, вы не уловили сути,— грустно сказал старичок.— Вот уже час я вам толкую: все, что получает извне живой организм, в том числе и человек, в конечном счете сводится к информации. Всю жизнь человек только и делает, что получает и

перерабатывает инфорию. Без инфории вообще не было бы ничего живого, если хотите знать. Без инфории распался бы, исчез человеческий род!..

— Ну уж... — усомнился я.

— Конечно! Наследственные клетки — разве это не клубок информации, заключающей в себе все свойства данной особи, чтобы передавать их от поколения к поколению, от предков — потомкам?

— Пожалуй...

— А память, человеческая память, — разве это не богатейшее хранилище информации?

Итак, старичок причисляет себя и весь свой народец к роду человеческого...

— Уничтожьте память — во что превратится тогда человечество? — продолжал старичок. — Исчезнут история, искусство, культура. У одного древнего писателя есть такая притча. К человеку явился черт. Он предложил бедняку все блага мира, только чтобы тот отдал ему, черту, свою память. Человек согласился. Черт не обманул его: человек получил все, что только сумел пожелать. Но, увы! Сам-то он, отдав память, потерял человеческий облик. Итак, — простер старичок руку, — память — это все. Но разве есть в ней что-либо, помимо информации?

— Кажется, я начинаю понимать, куда вы клоните, — сказал я. — Значит, обыкновенная пища, скажем, кусок хлеба...

— Это не что иное, как определенная порция информации, — подхватил старичок. — Информация для желудка, для нервных клеток, для кишечника, и в конечном счете — для всего организма. Но информация грубая, некачественная, можно сказать — первичная. Такую пищу можно освободить от примесей, превратив в чистую информацию, — блоками такой информации мы и питаемся.

— Знаю, пробовал, — сказал я.

— Здесь-то я и возвращаюсь к первоначальной мысли, — сказал старичок. — Машине все равно, каким топливом ее питают, — было бы оно доброкачественным. А человек — та же машина, пусть посложней. Поэтому и ему все равно, какой питаться информацией — была бы она доброкачественной. К чему тогда посредничество в виде грубой пищи? Человек должен получать инфорию в чистом, натуральном виде. Мы этого добились, — в голосе старичка звучало торжество. — Заодно мы победили массу болезней, связанных с желудком. Вообще пищеварительный тракт сам собой упростился.

Время шло, и мир, в который я попал, уже не казался мне

таким странным, как поначалу. Мир этот жил по своим законам, которым нельзя было отказать в логичности.

Однако же должно быть у этих людей что-то общее с моим старым, привычным миром?

— Уж деньги-то у вас есть, наверное,— сказал я первое, что пришло в голову.

— Деньги? — переспросил старичок. — Что это?

— Деньги... — растерялся я. — На них можно купить все, что нужно.

— У нас каждый и так получает столько инфории, сколько ему нужно. Да вот вы, например. Вы рассказывали, что только что поужинали в центральном инфоре. Разве вы платили за блоки информации эти самые... деньги?

Он был прав. Но я не сдавался.

— Как же вы обходитесь без денег?

— Они ни к чему.

— Но если вам нужно сравнить два блока информации: который из них ценнее? С помощью рублей и копеек сравнить их было бы просто. А вот без помощи денег...

— Разве вы не знаете, что инфорию можно очень просто измерять? — сказал старичок. — Единицей информации служит бит. Одним битом называется...

— Только без лекций,— взмолился я. — Надоели уже горькой... — Я оглянулся. Старичок куда-то исчез, словно испарился.

Поглощенная информация, видимо, начинала делать свое дело. Меня мучило, жгло, выворачивало наизнанку. Наверное, мне попала информация с душком, а может, попросту лживая информация?

Я шел. Домики передо мной раскачивались, то выступая из тумана, то вновь в него погружаясь. «А может, и впрямь все сводится к этой самой инфории? — размышлял я, морщась от головной боли. — Если разобраться... Разве, когда я экзаменуя студента, я требую от него что-нибудь кроме информации? Знания! Это и есть усвоенная информация. И когда я ставлю двойку, то, значит, информация усвоена недостаточно. Читая книгу, разве не информации мы ищем в первую очередь? Информации о том, чего мы еще не знаем, что нас волнует и интересует. Если же этого нет,— мы с досадой откладываем книгу...»

Споткнувшись в полутьме, я едва ли не упал. Нагнулся и поднял ноздреватый обломок, похожий на туф. Другой бы размахнулся и отшвырнул его в сторону. Я же, наученный опы-

том, поднес его к уличному фонарю, от которого струился зыбкий свет. Ну, разумеется! Чего еще можно было ожидать в этой стране? Это был вовсе не камень, а окаменевший обломок информации. Я на всякий случай сунул его в карман. Когда вернусь, расскажу всем о стране Инфории. Дочурка — она, конечно, сразу поверит. Если же кто станет сомневаться — я покажу этот обломок. Пусть попробует опровергнуть вещественное доказательство!

«А все величайшие научные открытия? — продолжал я размышлять. — Ведь каждое из них — не что иное, как новая толка информации об окружающей нас природе. Разве не так?»

Я придумывал все новые и новые примеры, подтверждающие ту мысль, что все в нашем мире сводится к информации. И представил себе, как в недалеком будущем ученики в школах будут решать такие, например, задачи:

«К бассейну подведены две трубы. Сечения труб заданы. За сколько часов бассейн наполнится, если из одной трубы информация втекает, а через другую трубу — вытекает...»

Бредя наугад, я снова вышел на главную улицу. Прохожих почти не было. Я чувствовал себя чужим среди маленьких ловких людей, суетящихся и спешащих по своим делам.

Можете представить, как я обрадовался, когда увидел впереди знакомую тонкую фигурку. Это была Оль, она кормила маленьких мохнатых птиц. Птицы с криком кружили возле нее, опускались ей на плечи, а наиболее храбрые склевывали корм — крошки информации — прямо с ладони.

— Оль! — позвал я.

— Наконец-то, — произнес рядом чей-то обрадованный голос.

Я повернулся.

— Лежите. Вам нельзя двигаться, — строго сказала девушка в белом халате, вынырнувшая из темноты. У нее было одно лицо с девочкой, только что кормившей с узкой ладошки мохнатых неведомых птиц.

— Оль!

— Да, Ольга. Разве вы меня знаете?

— Конечно, знаю. Вы Оль из страны Инфории...

— Опять бред, — сказал кто-то встревоженно.

— Типичное следствие грибного отравления, — произнес уверенный басок. — Боюсь, придется повторить выкачку.

При словах «повторить выкачку» я почувствовал себя значительно лучше.

— Где вы нашли его? — спросил кто-то.

— В лесополосе.

— За станцией?

— Да.

— Он лежал в двух шагах от полотна,— сказала Оль.

— Угораздило же вас, голубчик, угоститься грибками,— сказал мужчина. После маленьких жителей страны Инфории он казался мне громадиной.— Вот, выпейте-ка это.— Он протянул мне стакан с розоватой жидкостью.

Выпив жидкость, я окончательно пришел в себя. Не отрываясь, смотрел я на Оль. Смутившись, она отвела взгляд. Мне все казалось, что стоит сделать усилие — и я вновь возвращусь в чудесную маленькую страну, в городок, по улицам которого только что бродил.

— Ну, как? — спросил меня врач.

Вместо ответа я поднялся и сделал несколько шагов по комнате.

— Вы отлично держитесь,— сказал он.

Оль улыбнулась мне, и я понял, что мы не можем просто так взять и расстаться. Ведь у нас была общая тайна.

— Ольга,— сказал врач,— проводите кавалера. Он еще успеет на последнюю электричку.

И тут, сунув руку в карман пиджака, я наткнулся на что-то твердое. На моей ладони лежал камень странной формы. Поверхность его, изъеденная непогодой, казалась покрытой письменами.

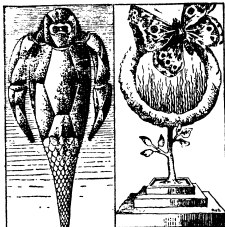
— Откуда это? — нахмурил брови врач.— Любопытно...— Он долго вертел камень так и этак. Словно пытаясь прочесть неведомую надпись.

— Кислота почвы растворила более мягкие вкрапления породы,— сказал он наконец, возвращая мне камень.— Отсюда эти узоры.

Я промолчал. Потому что больше всего на свете не люблю скептиков и тех, кто привык любые происшествия объяснять слишком просто.

---

## ШУТНИКИ



1

На девяносто шестой день свободного поиска произошел тот самый случай, ради которого космонавты и терпят скуку и невзгоды патрульной жизни. Штурман корабля Клим Ждан во время очередной вахты запеленговал работающую радиостанцию на третьей планете желтого карлика Ж-П-23.

— Я всегда верил, что так будет! — возбужденно говорил Клим.

Он не находил себе места. Ходил взад и вперед по кают-компани, ероша свои жесткие черные волосы, и время от времени присаживался то на диван, то на подлокотник кресла, то прямо на край стола.

— Теперь наши имена войдут в историю. Иван Лобов, Клим Ждан и Алексей Кронин открыли новую цивилизацию!

Через некоторое время он заглянул в ходовую рубку и нетерпеливо спросил:

— Иван, когда мы наконец изменим курс?

— Когда запеленгуем следующую передачу, — ответил Лобов, не отрываясь от работы.

— Разве одной пеленгации недостаточно?

— Ты мог ошибиться.

— Я? Чепуха! — возмутился штурман. — А если следующей передачи не будет?

— Тогда и подумаем, что делать.

Клим раздраженно хмыкнул, некоторое время постоял, сердито глядя на затылок Лобова, и вернулся в кают-компанию. Плюхнувшись в угол дивана, он задумался. Постепенно выражение досады сошло с его лица.

— Если их язык так напоминает земной, почему бы им не быть антропоидами? — повернулся он к инженеру.

— Это было бы слишком большой удачей.

На исходе второго часа ожидания на той же планете была запеленгована еще одна радиопередача. Она оказалась более продолжительной и содержала не только речь, но и музыку, которая даже на земной вкус звучала легко, ритмично и слушалась не без удовольствия.

— Я же говорил, что это антропоиды! — торжествовал Клим.

— Не торопись с выводами, — остудил его пыл Кренин, — я довольно близко знал одного оратора, отлично говорившего по-испански. Однако он вовсе не был антропоидом.

В ответ на недоверчивый взгляд Клима он невозмутимо пояснил:

— Его звали Лампи. Милейшее существо из породы полу-гаев!

— Не понимаю! Как ты можешь шутить в такой момент?

Лобов не принимал участия в споре. Он был занят сверкой данных обеих пеленгаций. Дважды проверив все расчеты и не обнаружив существенных расхождений, он дал наконец команду на изменение курса корабля. «Торнадо» выполнил этот нелегкий маневр, потребовавший всей мощности ходовых двигателей, и устремился к планете.

Количество принимаемых радиопередач множилось с каждым часом, а на третьи сутки полета с новым курсом были приняты даже телевизионные изображения. Это были примитивные черно-белые картингч с разверткой всего в пятьсот сорок строк. Телепередачи были очень несовершенны и сильно искажены помехами, об их содержании можно было только догадываться. Но вот удалось принять несколько четких кадров. По экрану метались обнаженные существа, собственно, не существа, а такие же люди, как и космонавты. Можно было подумать, что неведомые люди были заняты какой-то спортивной игрой. Итак, никаких больше сомнений. Корабль приближался к планете, населенной антропоидами! Это было эпохальное открытие! Клим торжествовал так, будто антропоиды были его личным творением.

С момента приема первых радиопередач с полной нагрузкой работала бортовая лингаппаратура. Сочетание речи, изображений и пояснительных надписей создавали для нее почти идеальные условия. В короткий срок удалось установить фонетику языка, понять его морфологию и синтаксис. Быстро рос и словарный запас. Когда он перевалил за первую тысячу слов, к изучению языка активно подключились космонавты. Работали с полной нагрузкой: днем изучали грамматику и тренировали разговорную речь, а ночью с помощью гипнопедических установок пополняли словарный запас. Скоро выяснилось, что планета, к которой летел корабль, носит красивое имя — Илла, а ее обитатели называют себя иллинами.

Параллельно с изучением языка космонавты старались разобраться в биологии и социальных отношениях иллинов, но тут натолкнулись на неожиданное и довольно забавное препятствие. Принимаемая информация имела интересную особенность, которая, как плотный туман, скрывала и детали и самую суть иллинской жизни. Пока словарный запас космонавтов был невелик, а перевод соответственно страдал приближенностью, эта особенность не очень бросалась в глаза. Но по мере того как космонавты овладевали языком и знакомились с бытом иллинов, она стала вырисовываться все яснее и четче. Все радио- и телепередачи, которые удавалось принять, носили шутливый, юмористический, развлекательный характер! Они были заполнены легкой музыкой, репортажами многочисленных соревнований, веселыми пьесками, напоминавшими земные оперетты, головоломно-приключенческими повестями юмористической окраски... Серьезная информация отсутствовала вовсе. Исключение составляли лишь обстоятельные сводки и прогнозы погоды, передававшиеся с завидной регулярностью шесть раз в сутки, которые, кстати говоря, составляли около двадцати земных часов. Сначала все это забавляло и даже радовало космонавтов — передачи рисовали иллинов премилым, добродушным народом, встреча с которым обещала быть легкой и непринужденной. Но день проходил за днем, а кроме веселья в иллинских передачах не удавалось почерпнуть ничего нового. Как и в первые часы знакомства, космонавты оставались в полном неведении относительно иллинской науки, техники, социальной структуры и даже семейно-бытовых отношений. Юмор надежно скрывал тайны этой странной цивилизации!

— Может быть, у них всепланетный праздник? — высказал догадку Клим.

— Праздник, который без перерыва длится целую неделю? — усомнился Лобов.

— А почему бы и нет? — поддержал штурмана Кронин. — Вспомни наши олимпийские игры. Можно ли по ним составить правильное и полное представление о жизни на Земле?

Лобов пожал плечами, но в спор ввязываться не стал.

Прошла еще неделя, желтый карлик Ж-II-23 превратился в самую яркую звезду на черном небосводе, а на Илле ничего не изменялось — планета продолжала безудержно веселиться.

— Если это и праздник, — констатировал Алексей Кронин, — то надо признать, что он порядком затянулся. Вообще премилый народ эти небожители.

— Какой-то жизнерадостный идиотизм в планетарном масштабе! — сказал Клим.

— Вот-вот, — флегматично поддержал его Алексей, — собирай комедиантов и лицедеев. Не планета, а театральные подмостки. Кто же кормит и одевает всю эту веселую богему?

«Торнадо» сблизился с Иллой и начал орбитальный облет планеты. Космонавты возлагали большие надежды на прямые визуальные наблюдения загадочного мира, но их ждало разочарование. Илла была закрыта мощной многослойной облачностью. Сквозь редко встречавшиеся просветы мало что можно было увидеть. Пришлось довольствоваться пока данными измерительной аппаратуры и радиозондирования. Илла оказалась удивительно водянистой планетой, суша занимала не более шести процентов всей ее поверхности. По существу вся планета представляла собой единый глобальный океан, по которому там и сям были разбросаны архипелаги островов. Континентов, подобных земным, не было. Никаких признаков мощной промышленности и энергетических объектов не удалось обнаружить.

Клим брюзжал:

— Цивилизация без промышленности, цивилизация без энергетики. Кто в это поверит? Если мы привезем такие данные, на Земле добрую неделю будут корчиться от смеха!

— Я тебя понимаю, Клим, — сочувственно согласился Алексей, — меня тоже раздражает Илла. Все тут устроено ужасно не по-земному! Но ведь не мы с тобой ее сотворили, зачем же так расстраиваться?

Он задумчиво погладил подбородок, усмехнулся и добавил:

— Вообще-то, кто знает? Может быть, на Илле мы видим собственное будущее?

— А что? — продолжал он, игнорируя насмешливое удивление Клим. — К такому выводу легко прийти, если проанализировать историю человечества с точки зрения юмора. Легко доказать, что количество юмора в общем потоке информации непрерывно возрастает по мере развития человечества. Ты напрасно так скептически улыбаешься, Клим. Вспомни, были ведь периоды в истории человечества, когда не до шуток было. А сейчас? Склонность к юмору — доминантный признак современного человека. Не так ли? Так что же помешает ему в будущем окончательно превратиться в новый социальный и биологический гомо сапиенс юмористикус. Люди сплошь станут весельчаками и шутниками. Ни горя, ни забот...

— Да ну тебя! — с досадой сказал Клим. — Пока ты не гомо сапиенс юмористикус — говори серьезно.

— Для серьезных гипотез нужна хотя бы маленькая зацепка, — вздохнул Кронин.

Скоро такая зацепка появилась. Однажды Климу удалось провести отличную стереосъемку острова, который внезапно открылся в просвете между облаками. Клим просто превзошел самого себя, сумев так мгновенно оценить обстановку и сделать превосходные снимки. На них космонавты обнаружили любопытную деталь: от города, расположенного на острове, к океану тянулось несколько отличных, хотя и нешироких дорог, сделанных из полированного камня.

— Вот вам и разгадка илиинской цивилизации, — с удовлетворением сказал Клим, проводя указкой по тонким линиям дорог, — производство этих веселых паразитиков сконцентрировано на океанском дне и полностью автоматизировано. Все, что нужно для жизни и развлечений, илиины получают по этим дорогам. Им остается наслаждаться жизнью.

— Если это можно назвать жизнью, — хмуро заметил Лобов.

— Если они полностью устранились от производства, а похоже, что так оно и есть, это уже не жизнь, а паразитизм на теле машинной цивилизации, — согласился инженер.

Однако вскоре эта логически стройная гипотеза о назначении удивительных сооружений, принятых космонавтами за дороги, дала, как говорится, трещину.

В результате остроумно выполненных измерений Кройину удалось установить, что «дороги» отнюдь не плавно спускаются к океану, как это показалось поначалу. Они обрывались на высоте десяти — пятнадцати метров над уровнем океана.

— Совершенно очевидно, — растерянно заключил Кро-

мин,— по таким дорогам можно транспортировать что-либо в океан, но никак не из него.

— Для чего же тогда нужны эти проклятые дороги?! — с отчаянием в голосе воскликнул Клим.

Кронин пожал плечами.

— Может быть, для сбрасывания в океан отходов. Или это своеобразные памятники старины. Когда-то по ним действительно осуществлялась связь с океаном. Потом на смену им пришли более удобные подземные коммуникации, а дороги остались. Океан наступал, разрушая берега острова, вот так и получилось, что дороги отвесно обрываются в океан.

Клим промолчал. Стоя у стола, он разглядывал многочисленные фотографии иллинов, сделанные с экрана телевизора. Держа эти фотографии веером в руке, он вдруг повернулся к инженеру.

— Мы, видимо, поторопились с выводами не только в отношении дорог. Вот посмотри! — Он бросил фотографии на стол. — Посмотри, сколько ловкости, грации и силы в этих телах. На них просто приятно смотреть! Разве они похожи на вырождающихся?

Неторопливо перебирая фотографию за фотографией, Кронин просмотрел всю пачку.

— Да,— согласился он,— красивый народ! Правда, это еще ни о чем не говорит. Но в одном ты прав — не надо спешить с выводами.

— Иллины не только физически совершенны, они еще и порядочны,— вдруг вмешался в разговор Лобов. — Мне кажется, что при всем легкомыслии и беспечности, им совершенно чужды жестокость, деспотизм, несправедливость. Вы обратили внимание: во всем, что мы видим на телеэкране и слышали по радио, не было и намека на явления, известные нам из нашей собственной истории. Вспомните, когда-то в ходу было выражение — «больное общество». Не будем касаться природы этого «заболевания» — посмотрим, как оно проявлялось в сфере морали и нравственности — крайний эгоцентризм, культ эротики, секса. У иллинов, кажется, ничего этого нет.

— Мы знаем иллинов лишь с парадного хода. Все может радикально измениться, если мы перелезем через забор и заглянем в окно. Словом, мы занимаемся гаданием,— сказал Кронин.

— Верно,— согласился Лобов. — У нас мало фактов. Мы можем до бесконечности сидеть на орбите и строить остроумные, но беспочвенные гипотезы. Пора принимать решение.

Либо возвращаться на базу, либо пойти на прямой контакт и попытаться заглянуть в окно, как говорит Алексей.

Кронин согласно кивнул, но тут же поспешил добавить:

— Если на Илле фактически командуют машины, а это очень вероятно, то нам может быть оказан самый неожиданный прием.

— Да, к этому нужно быть готовыми.

— И все-таки я за контакт! — прихлопнул рукой по столу Клим.

## 2

Операция первого контакта с иллинами была разработана тщательно. Для посадки «Торнадо» был выбран уединенный островок, на котором Клим обнаружил загадочные дороги.

«Торнадо» произвел посадку километрах в полутора от ближайших зданий, видимо, в загородном парке.

На первый контакт пошел Клим. Лобов остался на подстраховке, Кронин готовил корабль к немедленному взлету, на тот случай, если придется срочно покидать Иллу.

Спрыгнув с трапа на опаленную двигателями траву, Клим сделал несколько упругих осторожных шагов, топнул, словно проверяя твердость почвы, и непринужденно доложил:

— Все в порядке.

— Поздравляю, слежу за тобой и окрестностями, — ответил Лобов.

Клим обошел вокруг корабля, еще раз притопнул ногой, глубоко вдохнул теплый влажный воздух и осмотрелся. Моросил мелкий невесомый дождь. Капли с едва слышным шорохом теребили сожженные, поникшие стебельки травы и щеко-тали щеки и шею. За четко очерченным серым пятном посадки, следа отдачи двигателей, трава была сочной и пронзительно зеленой. Она росла сплошной плотной массой, напоминая чем-то дружные всходы озимой пшеницы. Край поляны ограничен деревьями и кустарниками, силуэты которых были размыты влажной дымкой и сеткой дождя. И вообще было темновато, даже близкие предметы рисовались расплывчато, как во время сумерек на Земле, хотя где-то там, за облаками, сияло здешнее солнце. В зеленой траве, что росла за пятном посадки, мерцали искры света. «Уж не светлячки ли это? Совсем как на Земле», — подумал Клим. В тишине, нарушаемой лишь мерным шорохом дождя, не было ничего гнетущего, это была тишина покоя. Клим улыбнулся и ладонью вытер

мокрое от дождя лицо. Вот что значит прослушать и просмотреть тысячи телепередач! Этот влажный, туманный мир казался ему теперь знакомым, как знакомы нам краски и запахи раннего детства. Словно когда-то он уже здесь побывал.

— Внимание! — слышался в наушниках голос Лобова. — Со стороны города приближается группа иллинов.

Клим невольно подобрался: как-никак, это первая встреча с глазу на глаз с представителями другого мира.

— В группе десять иллинов, — продолжал Лобов, — одежда легкая, спортивная. Ведут себя спокойно, шутят, смеются. Готовься.

— Понял, — ответил Клим.

Над деревьями, окружавшими поляну, вдруг с шумом поднялись какие-то крупные птицы, оглашая воздух недовольными криками, похожими на мяуканье рассерженных кошек. Клим проводил глазами их тяжелый, ленивый полет. Но вот кусты, над которыми взлетели птицы, шевельнулись, и на поляне появилась оранжевая фигура иллина. Секунду великолепно сложенный мужчина стоял, небрежно опершись рукой о ствол дерева, а потом обернулся назад и помахал рукой.

Послышался шум, голоса, шорох ветвей, и на поляну вышли еще девять иллинов.

Одеты они были более чем легко: короткие трусы и либо майки, либо куртки с открытым воротом. Но больше всего подивился Клим внешнему облику иллинов. Кожа у них была мягкого оранжевого цвета, волосы голубые, а глаза зеленые. «Маскарад да и только!» — подумал Клим.

Держась совершенно свободно, иллины приблизились к кораблю вплотную и стали его рассматривать. Но странное дело: их лица не выражали ничего, кроме детского, можно сказать, даже озорного любопытства. Ни потрясения, ни страха, вполне естественных в такой ситуации. Казалось, они принимали Клим за своего.

«Может, они не верят, что мы космические пришельцы? Всю эту историю с кораблем они принимают за шутку, за розыгрыш, который устроили жители какого-нибудь соседнего острова».

— Я прилетел оттуда, — сказал Клим, показав на небо, закрытое плотным слоем облаков. Иллины громко расхохотались.

— Но это правда! — отчаявшись, Клим лихорадочно искал убедительного довода. — Вы посмотрите... Вы посмотрите на меня и на себя. У вас кожа оранжевая, а у меня?

Опять хохот. Одна иллинка, озорно улыбаясь, сказала:  
— Смотрите.

Изумленный Клим увидел, как кожа иллинки прямо на его глазах посветлела, порозовела и приобрела характерный человеческий оттенок.

— Как он естественно изображает удивление! — восхитились иллины. — Отличный актер!

А высокий иллин спросил:

— Если ты действительно инозвездный пришелец, откуда ты знаешь наш язык?

— Мы изучили его. У нас есть специальные машины, которые помогали нам в этом.

Вдруг иллины, не переставая весело галдеть, ушли.

Клим тяжело вздохнул: разговор с иллинами измотал его, точно непрерывная суточная вахта.

### 3

Паломничество иллинов к кораблю продолжалось непрерывно, но ничего нового это не давало. Все визиты, по существу, повторяли собой первое посещение корабля. Но астронавты невольно обратили внимание на одну деталь. В шутильных репликах, которыми иллины обменивались с астронавтами, нет-нет да и мелькали отсветы своеобразных и глубоких знаний. В полдень иллины исчезали. Удалось выяснить, что они уходили обедать и отдыхать.

— Редкое единодушие для таких легкомысленных ребят, — констатировал Кронин. — Дети, большие добрые дети. Наивное любопытство, мимолетный интерес — вот и все, на что они способны. Все серьезное и значительное им чуждо. И ровно ничего не изменится, если мы даже и сумеем доказать свое инозвездное происхождение.

Клим ничего не ответил.

— Ты не согласен? — спросил его Кронин.

— Как тебе сказать, на первый взгляд иллины действительно похожи на детей.

— А на второй?

— И на второй, а может быть, и на десятый. Надо побывать на этих проклятых дорогах.

— Думаешь, разгадка все-таки там?

— Если вдуматься хорошенько, то они похожи не столько на детей, сколько на стариков!

— На стариков? — Кронин засмеялся. — Да среди наших посетителей не было ни одного старше двадцати пяти лет!

— Я говорю не о внешнем виде, — отмахнулся штурман, — я говорю об их психике. Они похожи на стариков, владевших когда-то богатейшими знаниями, а теперь впавших в наивное детство. Неужели ты не замечал, как тени былых знаний нет-нет да и мелькнут в их разговорах?

Кронин смотрел на штурмана с интересом.

— В этой идее что-то есть, Клим.

— Ты думаешь? — оживился штурман. — Я уже раздумывал над этим, и у меня сложилась такая, немного фантастическая, но тем не менее возможная картина. Разумных всегда привлекала идея вечной юности, вспомни сказки нашей седой старины, Фауста средневековья и неисчислимое количество геронтологов, работающих над этой проблемой в наши дни. Допустим теперь, что иллины достигли таких биологических высот, что научились возвращать себе юность. Но, возродив к новой жизни свое дряхлое тело, они оказались бессильными омолодить душу! И вот постепенно, век за веком планету заселили странные существа — сильные, ловкие красавцы с дряхлой, засыпающей душой. Обрати внимание. И по телевидению, и возле корабля мы видели только молодежь. Ни детей, ни стариков, ни даже просто пожилых людей.

Глаза Кронина лукаво сощурились:

— А может быть, у них диктатура юности? Молодежь планеты солидаризовалась и поработила все остальные возрастные группы, превратив их в своих рабов!

— Похоже, на Илле действительно есть и рабы и диктатура, — сказал устало Лобов.

Он незаметно вошел в кают-компанию и некоторое время стоял, прислонившись к косяку двери.

— Тебе удалось узнать что-то новое? — живо спросил Клим.

— Кое-что удалось, — ответил Лобов и, пройдя вперед, опустился на диван рядом с Климом.

...Для разведки Лобов выбрал глайдер: он был почти бесшумен, а опасаться нападения на этой планете не было никаких оснований, поэтому прочность машины не имела значения. Чтобы не привлекать внимания иллинов, Лобов стартовал с верхней площадки корабля и скрылся в облаках, низко висевших над кораблем.

Пройдя немного по горизонту, Лобов бросил свой глайдер под облака. До «земли» было метров пятьдесят, она то

туманилась, скрывалась в плотном заряде дождя, то прояснялась, выступая со всеми деталями. Выскочив на ближайшую дорогу, Лобов сбавил скорость и повел глайдер к океану, внимательно вглядываясь вниз. Дорога петляла, следуя за естественными складками довольно пересеченного рельефа. Она напоминала застывшую омертвевшую реку. Это сходство усиливалось благодаря влажному блеску каменных плит, омытых дождем.

Чем ближе к океану, тем все шире и плотнее по сторонам дороги вставали живые стены деревьев и кустарника. Выбегав на берег океана, дорога расширялась, образуя небольшую площадку, и оборвалась вниз. Лобов с интересом разглядывал загадочное сооружение иллинов. Обрыв был отвесным, площадка нависала над водой на высоте метров пятнадцати. Для подъема грузов место было абсолютно непригодным, зато с площадки было очень удобно сбрасывать что-либо вниз, в воду. Неужели Алексей прав, и иллины действительно сливают здесь нечистоты?

Лобов кружил над самой водой. Под обрывом было глубоко, но вода была так спокойна и прозрачна, что Лобов видел на дне каждое живое существо, каждый камень.

Никаких признаков грязи или хлама, ничего похожего на свалку. Чистое и естественное прибрежное дно океана. Нет, эти дороги не для вывоза отходов. А для чего же?

Так и не придя ни к какому решению, Лобов вывел глайдер из виража, забрался под самые облака и пошел на север, вдоль береговой слабо изрезанной черты. Километра через два обрыв отступил от берега, обнажив широкую полосу песка. Здесь он увидел иллинов. Впечатление было такое, будто он летел над каким-нибудь популярнейшим пляжем на Земле — до того было похоже, что Лобов с трудом подавил желание немедленно сесть и искупаться в этой чистой, прозрачной воде. Немало помог преодолеть искушение дождь, и тогда ему стало смешно: «Забавно, что они купаются и нежатся на песке под дождем...» При виде глайнера иллины не выказывали ни малейшего беспокойства. Они следили за ним, запрокидывая головы, махали руками.

Пляж тянулся не меньше километра, а потом береговой обрыв снова придвинулся к самой воде. И тут Лобов увидел другую дорогу из полированного камня, отвесно падающую в океан. И это место он обследовал со всей тщательностью, но ничего нового не обнаружил — та же глубина и ровное чистое дно. Дороги ни для чего! А впрочем, что подумал бы инопланетянин?

нетный житель, обнаружив на Земле пустынные древние города, тщательно охраняемые археологами?

Покружив над обрывом и над самой водой, Лобов развернулся и вдруг заметил плывущего иллина, медленно, словно нехотя приближавшегося к берегу. Лобов удивился: вдоль берега тянулся почти отвесный обрыв, выбраться наверх здесь было невозможно. Может быть, иллин нуждался в помощи?

На всякий случай Лобов снизился к самой воде и на малой скорости прошел над необычным пловцом. Иллин не поднял головы и не помахал ему приветливо рукой. Движения его были вялыми, утомленными, греб он почему-то одной левой рукой. Приглядевшись, Лобов заметил, что правой иллин прижимал к себе другого иллина, видимо, потерявшего сознание.

Мгновенно приняв решение, Лобов завалил глайдер в крутой вираж, чтобы сесть на воду рядом с иллинами. Он успел заметить, что пловец достал пологое в этом месте дно, сделал несколько шагов и выпрямился, поднял другого иллина на руках. На мгновение Лобов потерял из виду эту странную пару, а когда глайдер, подрагивая от перегрузки, вывернулся на посадочный курс, усталый пловец был один! Он стоял на прежнем месте. Вдруг он дернулся и плашмя упал на спину, подняв столб брызг.

Как только глайдер коснулся воды, Лобов выключил двигатель, распахнул дверцу кабины, прыгнул прямо в воду, погрузившись в нее по пояс, и тяжело побежал туда, где еще расходились широкие круги. Здесь! Лобов остановился, оглядываясь вокруг. Иллинов не было видно. Лобов прошел несколько шагов вперед, назад, вправо, влево — вокруг было чистое дно. Неужели он ошибся?

Так и не поняв, что случилось, Лобов бросился обратно к глайдеру, вскочил в кабину, захлопнул дверцу, запустил двигатель и рывком поднял машину в воздух. Набрав метров двадцать, Лобов, перекладывая глайдер с борта на борт, до боли в глазах принялся вглядываться в воду. Ничего! Но не приснились же ему иллины!

Лобов уменьшил крен машины, расширяя радиус разворота, и заметил вдали группу очень крупных животных, похожих на рыб, стремительно уходивших от берега. Снова занял двигатель, и глайдер быстро догнал неизвестных обитателей океана. Это был добрый десяток лобастых рыбообразных созданий, метра по два длиной каждое. Одно из них, Лобов видел это совершенно отчетливо, тащило с собой иллина, при-

жимая его длинным ластом. Иллины не сопротивлялись. Странные существа вдруг резко вильнули вправо, а потом скрылись в глубине. Все дальше и дальше уходя в открытое море, Лобов полетел змейкой, надеясь снова обнаружить стаю, но все было напрасно. Когда берег стал совсем скрываться за сеткой дождя, Лобов понял, что дальнейшее преследование и поиски бесполезны. Он вспомнил о тысячах иллинов, беспечно купающихся в открытом океане, и ему стало жутко. Он потянул ручку управления на себя и с гулом и свистом рвал рыхлое мокрое тело облаков до тех пор, пока не посветлело и над головой не вспыхнуло совсем по-земному ласковое солнце...

Рассказ Лобова произвел впечатление. Первым отозвался Кронин:

— Да, это нечто новое. Мы думали, что иллины паразитируют на теле машинной цивилизации, уже давно обретшей автономность и терпящей иллинов, так сказать, по традиции. А оказывается, иллины находятся в каких-то очень сложных и отнюдь не дружественных отношениях с обитателями океана.

Клим поднял голову:

— Весь вопрос в том, что это было — случайное нападение или система. Если бы иллины подвергались систематическим нападениям, мы непременно бы заметили нотки тревоги и страха в их поведении. Но ведь нет ничего похожего! Иллины ведут совершенно безоблачное существование.

— А разве ты замечал нотки тревоги и страх у коров, пасущихся на лугу? — негромко спросил Лобов.

Замечание было столь неожиданным, что Кронин некоторое время растерянно смотрел на Лобова, потом горячо возразил:

— Нет! Я не могу поверить в это. Иллины — что-то вроде мясного стада для океанских обитателей? Не поверю!

— А почему бы и нет?

— Надо идти в город, — хмуро сказал Клим, — надо в конце концов разобраться, что происходит в этом мире. И если надо, помочь иллинам. В самом деле, не бросать же их на произвол судьбы!

Он встал с дивана.

— Я пойду в город, Иван. Пойду и узнаю все, что нужно!

— Ты слишком горяч, Клим, — мягко сказал Кронин и повернулся к Лобову, — полагаю, что для такого дела самая подходящая кандидатура — это я.

Лобов посмотрел на одного, на другого и задумался.

— Нет, — сказал он наконец — я пойду сам.

Город начался незаметно: среди деревьев показалось одно здание, за ним другое, потом целая группа, и уже трудно было сказать, что это — большой городской сквер или парковый поселок. Вслед за шумной компанией иллинов Лобов вошел в ближайшее здание. На него почти не обратили внимания, в лучшем случае происходил обмен шутливыми репликами. Присмотревшись, Лобов обнаружил, что в здании размещался спортивный клуб, по крайней мере, так сказали бы о его назначении на Земле. В клубе былолюдно, шумно и весело. Играли в мяч, прыгали в длину и высоту, с шестом и без шеста, с места и с разбега. Особенной популярностью пользовались прыжки на батуте. Лобов, сам неплохо владевший этим видом спорта, в молчаливом восхищении долго любовался гибкими оранжевыми телами, парящими в воздухе. Конечно, он уже имел некоторое представление об этих прыжках по телевизионным передачам, но одно дело рябой экран телевизора, и совсем другое дело живые люди, легко ввинчивающиеся в воздух и похожие сразу на змей и на птиц.

Выйдя из клуба, Лобов стал подряд заходить во все здания, встречавшиеся на его пути. Большинство из них имело развлекательное, спортивное или утилитарное назначение. Лобов не без удивления обнаружил, что иллины очень непритворливы в своей личной жизни. Жили они в больших комнатах группами по несколько десятков человек. У каждого в личном пользовании была койка, стул, нечто вроде тумбочки и низкая скамейка. И больше ничего. Это были не жилые дома в земном смысле этого слова, а общежития-спальни.

По пути Лобову попалось несколько столовых. В одной из них, заметив иллина с умными лукавыми глазами, Лобов задержался. Столовая представляла собой зал средних размеров с редко расставленными столиками, вдоль стен этого зала тянулись ряды однотипных прилавков, внутри которых под стеклом стояли самые различные блюда и напитки. Даже на Земле во время праздников Лобов не встречал большего разнообразия! Иллин не спеша закусывал, доброжелательно поглядывая на Лобова. Лобов огляделся вокруг и с непринужденной улыбкой сказал:

— Какая разнообразная пища! Откуда она берется?

— А откуда берутся воздух, вода и свет? — засмеялся иллин. — Они есть, вот что важно. Но уж если вам очень инте-

ресно, скажу — продукты привозят из океана. Ночью, когда мы спим.

Лобов поднялся со стула и вышел из столовой. Дождь перестал, смеркалось. Влажная дымка размывала контуры зданий и деревьев. Близилась ночь. Элон и морлоки! Именно по ассоциации с уэллсовским романом Лобов там, в кают-компании, высказал мысль о стадах иллинов. Высказал несерьезно, под влиянием минутного раздражения и усталости. Может ли такое быть на самом деле? «Пройду к океану», — решил Лобов и попросил по радио у Кронина пеленг.

— Не поздно ли? Уже темнеет, — предупредил осторожный Кронин.

— Это хорошо, что темнеет. Будь в готовности, Клим пусть дежурит в униходе. Могут быть неожиданности.

— Понял, — после паузы ответил Кронин, — даю пеленг.

По пеленгу, данному инженером, лавируя между домами и клумбами, Лобов напрямик пошел к ближайшей дороге.

Темнело прямо на глазах. Дорога, выложенная полированными плитами камня, блестела как мертвая застывшая река. В траве по обочинам дороги мерцали разноцветными огоньками цветы — белые, розовые, зеленые, голубые. Они были так похожи на настоящие звезды, что на них нельзя было долго смотреть: начинала кружиться голова, а в сознание закрадывалось невольное сомнение — где же небо, сверху или внизу? Сама толща воздуха между искрящейся землей и черными облаками была заполнена редкими блуждающими огоньками — это летали насекомые и крохотные птички.

Вдруг сверху пахнуло теплым воздухом, раздался жуткий звук, похожий на скрип. Лобов прыгнул в сторону, под невысокое дерево и схватился за пистолет. Над его головой, совсем низко кружила большая ночная птица, ее глаза то вспыхивали рубиновыми фонариками, то гасли. Словно соглядатай неведомых хозяев, птица кружила, рассматривая Лобова, а потом поднялась выше и медленно, бесшумно полетела вдоль дороги к океану.

— Смотри, крина, — вдруг сказал впереди негромкий мужской голос.

— Да, вестница счастья, — подтвердил другой, женский.

Лобов перестал дышать, напряженно вглядываясь в темноту. К дороге медленно приближались две темные фигуры.

— Смотри, дорога словно река, — с восторгом сказала иллинка, — даже страшно ступить на нее, того и гляди замочишь ноги.

Женщина засмеялась, сделала шаг, другой и тонким черным силуэтом замерла посреди полированной глади. Потом к ее силуэту присоединился другой, крепкий и высокий.

— Пойдем,— деловито сказала женщина,— тут уже близко. Держась на почтительном отдалении, Лобов двинулся вслед за иллинами к океану. Сердце его билось учащенно, он интуитивно чувствовал, что каждый шаг приближает его к разгадке тайны этой странной планеты. Планеты тепла, дождей и туманов, планеты бездумного веселья и неосознаваемых трагедий.

— Где ты пропадала целый день? Я нигде не мог тебя найти,— спросил мужчина.

Женщина тихонько засмеялась.

— Работала.

Мужчина даже приостановился от удивления:

— Работала?

— Я делала нейтрид, тот самый материал, из которого сделан корабль пришельцев. Делала на бумаге, с помощью слов и формул.

— И тебе удалось? — с интересом спросил мужчина.

— Да. Ты же знаешь, как это бывает. В те часы я могла все, что угодно. Я была сильной, как целый мир!

Девушка опять засмеялась.

— Я исписала целую тетрадь, подумала, теперь у нас будет нейтрид, и уснула. Проснулась, когда уже наступали сумерки.

— Я тебя так ждал,— с легким упреком заметил мужчина.

— Так я же пришла!

— Пришла.

Дорогу все теснее обступали деревья и кустарник, слышались тяжелые вздохи дремлющего океана, на некоторых деревьях тоже горели яркие фонарики цветов. При этом сказочном, карнавальном свете Лобов легко различал ногти на своих пальцах. Кое-где над кустарником роились огненные облачка мелких насекомых. «Мошкара!» — определил Лобов.

— Сложно сделать твой нейтрид? — спросил мужчина.

— Молчи! Я не хочу больше слышать про нейтрид. Он в прошлом.

Дорога сделала один крутой поворот, потом другой. Пахло свежим и острым запахом океана, шум волн стал слышнее. Еще поворот, и Лобов замер на полушаге.

Прямо на обрыве, под которым внизу плескалась невидимая вода, росло деревцо, густо покрытое яркими пурпурными

цветами. Возле него, тесно обнявшись, стояли иллины. Они были шагах в четырех, совсем рядом. Лобов даже удивился, как они не слышали его шагов. Иллины долго стояли неподвижно, словно внимали голосам, неслышимым для Лобова. Потом девушка осторожно отстранилась от своего спутника, привстала на цыпочки и сорвала с дерева цветок. Он будто вскрикнул — вспыхнул ярко-ярко бледно-розовым пламенем, осветив край черного обрыва, узловатые, уродливо скрюченные ветки деревца с бархатной листвой и строгие одухотворенные лица иллинов. Девушка полюбовалась цветком и легким движением руки бросила его в океан. Он взлетел вверх, а потом стал плавно опускаться в темноту и скоро скрылся за обрывом. Широкие лепестки, точно парашют, тормозили его падение.

Девушка повернулась к мужчине.

— Здесь ведь невысоко, правда?

— Да, как на вышке, — согласился мужчина, голос его дрогнул от волнения.

— Так чего же мы ждем?

Девушка притронулась к плечу мужчины и, сделав два быстрых шага, остановилась на самом краю обрыва. Лобов сделал было движение вперед, но, стиснув зубы, заставил себя стоять на месте. Он чувствовал, что должно произойти нечто непоправимое, но он не знал что! Да и имел ли он право вмешиваться!?

— Я иду! — звонко сказала девушка.

И прыгнула. У Лобова перехватило дыхание. Не успел он прийти в себя, как мужчина тоже прыгнул прямо с места, не подходя к обрыву. Два гибких сильных тела сначала взмыли вверх метра на три и через мгновение исчезли за обрывом. Еще несколько секунд. Громкие всплески — и тишина. Лобов перевел дыхание.

— Да... — проговорил он озадаченно и тут же уловил боковым зрением какое-то движение неподалеку, он подобрался и выхватил лучевой пистолет.

— Держу на прицеле, — слышался в наушниках торопливый голос Кронина.

— Спокойно, не торопись, — тихо сказал Лобов, глядя вась в чудовище, возникшее перед ним.

Это была неуклюжая человекоподобная фигура с большой круглой головой, утопленной в могучие плечи, и длинными руками. «Робот, — мелькнула мысль, — все-таки робот! Кто он, хозяин или слуга океанских жителей?»

— Не бойтесь,— сказал робот по-иллински,— я не причиню вам вреда.

«Да ты не смог бы ничего сделать,— совсем уже спокойно подумал Лобов.— Кронин мгновенно уничтожил бы тебя гравитационным импульсом».

— Зачем вы здесь? — продолжал робот.

— Мы прибыли на Иллу как друзья,— дипломатично ответил Лобов, разглядывая своего удивительного собеседника.

— Я спрашиваю не о том. Обрыв — священное место. Здесь никто не бывает, кроме иллинов, час которых пробил. Зачем вы здесь?

Лобов молчал, собираясь с мыслями. Вот как, священное место! Место, где иллины, час которых пробил, бросаются в море. И ведь похоже, что они делают это добровольно!

— А вы зачем здесь? — ответил Лобов вопросом на вопрос.

— Я на посту. Я охраняю своих детей и родителей.

— Каких детей? — не понял Лобов.

— Иллины наши дети.

У Лобова в голове была сплошная каша.

— Так,— сказал он вслух только для того, чтобы сказать что-нибудь,— иллины ваши дети. А родители?

— Они наши дети и наши родители. Наше прошлое и будущее. Наше счастье и наша смерть.

Час от часу не легче!

— Я вижу, вы не понимаете меня. Я — атер, я живу в океане. Воздух для меня смертелен, как для вас пустота. («Значит, он не робот! Он — живое существо?!») Сейчас меня защищает скафандр. Уже пятьдесят два года я живу в океане. Я строю машины, которые на мелях океана сеют и собирают урожай. Я люблю свою работу, люблю движение, мне доставляет радость творчество. Но мне мало этого, меня тревожит и зовет будущее. Во сне я часто вижу небо, зеленую траву и огни цветов, всем телом ощущаю ветер, дождь и воздушную легкость бега. Я вижу себя иллином.

Атер умолк. Лобов терпеливо ждал и боялся, что «робот» не станет рассказывать дальше, но он снова заговорил, так же негромко и размеренно:

— Однажды я усну и не проснусь, сон будет продолжаться целый год, тело мое оцепенеет и станет твердым как камень. Товарищи отнесут и положат меня у берега одного из островов. А когда минет год, твердая оболочка лопнет, я всплыву на поверхность океана уже иллином.

«Как все просто! Зряшны все наши догадки о паразитизме

и холодной машинной цивилизации, о вырождении цивилизации, о стаде беспечных антропоидов, пожираемых чудовищами. У них две жизни, вернее две ее стадии. Как у наших бабочек. Грубо говоря, атер — это личинка, гусеница, иллины — бабочка», — лихорадочно подытоживал услышанное Лобов.

— Стало быть, превращение в иллина — ваше будущее. Вы его знаете. А ждете ли? Стремитесь к нему?

— Иллины живут совсем недолго — не больше тридцати семи дней. Вы видели, как с этого обрыва прыгнули в океан юноша и девушка. Это была любовь. И смерть. Они будут жить в воде до тех пор, пока не взойдет солнце. А потом умрут, дав жизнь атеру. Иногда, очень редко, иллины переживает свою подругу и, теряя силы, пытается вместе с нею вернуться на берег.

«Ага! Так именно это я наблюдал тогда, летая над побережьем. Но он не ответил на мой вопрос», — отметил про себя Лобов. Вслух сказал:

— Да, я видел обе эти трагедии. Признаюсь, мне было страшно.

— Трагедии? Нам неведомо это слово. Что оно означает?

— Как же так! Если вам известно слово «смерть», то вы должны знать и что такое трагедия и что такое страх...

— Я не вижу связи между этими словами. Для иллина смерть — это любовь.

«Так вот почему он не ответил на вопрос! Так вот почему юноша и девушка были спокойны, прыгая в воду. Они шли навстречу своему счастью!»

Лобова потрясла эта мысль.

Вдруг атер схватил Лобова за руку и увлек в светящийся кустарник. Лобов приготовился было к худшему, но тут увидел, что из-за поворота на дороге показались иллины — юноша и девушка. Обнявшись, они остановились на самом краю обрыва.

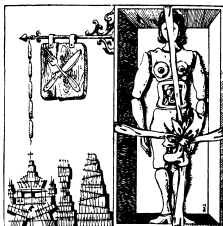
Девушка тихонько засмеялась.

— Смотри, — сказала она, — вода совсем близко!

Огненная пыль роилась над головами влюбленных. Бесшумно пролетела и скрипнула крина, птица, приносящая счастье. Ее рубиновые мигающие глаза холодно рассматривали странный мир, лежавший внизу.

---

## В СЕНТЯБРЕ ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ



Объявление в окне гласило:  
**ПРОДАЕТСЯ! ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!  
ШКОЛЬНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА!**

А чуть ниже мелкими буквами было добавлено:

**Может готовить обед, шить и выполнять любую работу по дому!**

При слове «школа» Денби вспомнил парты, ластик и осенние листья; учебники, школьные мечты и веселый детский смех.

Владелец маленького магазина подержанных вещей нарядил учительницу в яркое цветастое платье и маленькие красные сандалеты, и она стояла в окне в прямо поставленной коробке, словно большая, в человеческий рост кукла, в ожидании, когда кто-то явится и пробудит ее ото сна.

Денби шел по оживленной улице, пробираясь на стоянку к своему малолитражному бьюнку. Было понятно, что дома уже, видимо, заказан по номеронабирателю ужин, что он стынет на столе, и жена разгневается за опоздание, однако он остановился и продолжал стоять на месте, высокий и худой, рядом со своим детством, блуждавшим в его задумчивых глазах, робко выглядывавших на мягком лице.

Денби всегда раздражала собственная апатичность. Он тысячу раз проходил мимо этого магазина на пути от стоянки

автомобилей к месту службы и обратно, но почему-то только сегодня впервые остановился и обратил внимание на витрину.

Но, может быть, только сейчас что-то такое, в чем он крайне нуждался, впервые появилось в самой витрине.

Денби задумался. Нужна ли ему учительница. Вряд ли. Однако Луаре несомненно необходим помощник в доме, а купить автоматическую служанку они не в состоянии. Да и Билу наверняка не помешают дополнительные занятия к предстоящим переходным экзаменам сверх программы обучения, даваемой по телевидению, а...

А... а ее волосы напомнили ему сентябрьское солнце, ее лицо — сентябрьский день. Осенняя дымка окутала Денби, совершенно внезапно апатия прошла, и он двинулся, но не к стоянке автомобилей.

— Сколько стоит учительница, что выставлена в витрине? — спросил он.

Всевозможные антикварные вещи были раскиданы на полках этого магазина. Да и сам хозяин — маленький подвижный старичок с седенькими кустистыми волосами и прятными глазами — напоминал одну из них.

Услышав вопрос Денби, он весь засветился.

— Вам она понравилась, сэр? Она просто прелесть!

Денби покраснел.

— Сколько же? — повторил он.

— Сорок пять долларов девяносто пять центов, плюс пять долларов за коробку.

Денби едва верил сказанному. Сейчас, когда учителя столь редко встречаются, было бы естественно рассчитывать, что цены на них возрастут, а не наоборот. К тому же и года не прошло, как он собирался купить какого-нибудь третьесортного, побывавшего в ремонте учителя, чтобы помочь Билу готовить уроки, и самый дешевый, которого он отыскал, стоил больше ста долларов. Даже и за такую сумму он его купил бы, если бы не Луара, которая отговорила его. Она никогда не ходила в настоящую школу, поэтому не знала, что это такое.

А тут сорок пять долларов девяносто пять центов! Да еще умеет шить и готовить! Уж теперь Луара наверняка не станет возражать...

Конечно не станет, если он не даст ей такую возможность.

— А-а она в хорошем состоянии?

Лицо старичка помрачнело.

— Она прошла капитальный ремонт, сэр. Заменены полно-

стью все батареи и серводвигатели. Ленты прослужат еще лет десять, а блоки памяти и того больше. Сейчас я вытащу ее и покажу.

Хотя коробка стояла на роликах, управляться с нею было нелегко. Денби помог старичку вытащить учительницу из витрины и поставить возле двери, где было посветлей.

Старичок отступил назад в восхищении.

— Я, быть может, несколько старомоден, сэр,— заявил он,— однако должен вам сказать, что современные телепедagogи и в подметки ей не годятся. Вы когда-нибудь учились в настоящей школе?

Денби кивнул головой.

— Я так и подумал. Интересно...

— Включите мне ее, пожалуйста,— прервал Денби.

Учительница приводилась в действие с помощью маленькой кнопки, спрятанной за мочкой левого уха. Хозяин магазина немного покопался прежде, чем найти включатель, затем послышалось легкое «Щелк!», сопровождаемое еле слышным гудением. Вскоре на щеках учительницы заиграли краски, грудь начала ритмично вздыматься и опускаться, раскрылись голубые глаза...

Денби так сжал кулаки, что ногти впились в ладони.

— Попросите ее сказать что-нибудь!

— Она откликается и реагирует почти на все, сэр,— заметил старичок.— На слова, фразы, сцены, события... Возьмите ее, сэр, и, если она вам не подойдет, можете привезти обратно, и я с удовольствием верну вам деньги.

Старичок заглянул в коробку.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Мисс Джоунс,— в голосе ее слышался шепот сентябрьского ветра.

— Ваша профессия?

— Основная — учительница четвертого класса школы, сэр. Но могу преподавать в первом, втором, третьем, пятом, шестом, седьмом и восьмом классах и имею хорошую подготовку по гуманитарным дисциплинам. Кроме того, умею петь в домашнем хоре, готовить обед и выполнять простейшие операции по шитью — штопать дырки, пришивать пуговицы, поднимать петли на чулках.

— В последние модели фирма внесла много новшеств,— заметил старик, обращаясь к Денби.— Когда они в конце концов поняли, что телеобучение приобретает популярность, они стали делать все, что в их силах, чтобы побить конкури-

рующие компании пищевых концентратов. Но толку не добились. Ну-ка, мисс Джоунс, выйдите из коробки и покажите нам, как мы ходим.

Она прошла по захлавленной комнате; ее маленькие красные сандалеты мелькали по пыльному полу, яркое платье чем-то напоминало золотую осень. Затем она вернулась и встала в ожидании возле дверей.

Денби не в силах был сказать ни слова.

— Хорошо, — вымолвил он наконец. — Положите ее обратно в коробку. Я беру ее.

— Пап, это для меня? — закричал маленький Бил. — Да?

— Так точно, — ответил Денби, и вручную подкатил коробку к дому, поднял ее на маленькую веранду, а затем сказал, — и для нашей мамочки также.

— Ну когда это кончится? — сердито спросила Луара, стоя со скрещенными руками в дверях. — Ужин давно остыл, а тебя все нет.

— Ничего, можно подогреть, — отвечал Денби. — Бил, смотри!

Он, слегка запыхавшись, перетащил коробку через порог и покатил ее дальше по небольшому коридорчику в гостиную. В этот момент гостиной всецело завладел какой-то уличный торговец в красном, ворвавшийся туда через 120-дюймовый экран телевизора и всю расхваливавший новую модель «линкольна» с откидным верхом.

— Осторожней, ковер! — вскричала Луара.

— Да не волнуйся, ничего с твоим ковром не случится, — сказал Денби, — и пожалуйста, выключи этот телевизор, а то ничего не слышно.

— Пап, сейчас я выключаю!

Девятилетний Бил маленькими шажками подскочил к телевизору и одним ударом прикончил торговца в красном и все остальное.

Денби, чувствуя на своем затылке дыхание Луары, развязывал коробку.

— Учительница! — задохнулась от изумления Луара, когда коробка наконец была открыта. — Это все, что взрослый мужчина мог купить своей жене! Учительница!

— Она не просто учительница, — возразил Денби. — Она также может готовить обед, шить... Она... она может делать все, что угодно. Ты всегда говорила, что тебе нужна помощ-

ница, вот ты ее и получила теперь. Кроме того, у Била будет учительница, чтобы помочь ему готовить уроки.

— И сколько же она стоит?

Денби впервые обнаружил, какое скаредное у жены лицо.

— Сорок пять долларов, девяносто пять центов.

— Сорок пять! Да ты с ума сошел, Джордж! Я экономлю буквально каждый цент, чтобы приобрести вместо нашего старенького бьюика кадилетт, а ты швыряешь такие деньги за какую-то старую поломанную учительницу! Что она понимает в телеобучении? Да она же отстала лет на пятьдесят, не меньше.

— Такая помочь мне не сможет,— заявил Бил, сердито поглядывая на коробку.— Мой телепедагог сказал, что старые учителя-андронды никуда не годятся. Они... они быют детей...

— Ну это чепуха,— сказал Денби.— Никого они никогда не били, я знаю это точно, потому что сам ходил в настоящую школу.

Он обернулся к Луаре.

— И вовсе она не поломанная и не отстала на пятьдесят лет. О настоящем образовании она знает больше, чем все твои телепедагоги когда-либо узнают. И к тому же она умеет еще и шить, и варить...

— Ну ладно, прикажи ей подогреть ужин.

— Сейчас.

Денби склонился над коробкой, нажал маленькую кнопку за ухом и, когда голубые глаза раскрылись, сказал:

— Пойдемте со мной, мисс Джоунс.— и повел ее на кухню.

Он был восхищен тем, как она легко, с полслова схватывает его указания, где, какие кнопки нажать, какие рычаги поднять или опустить, что означают те или иные цифры на индикаторах.

Минута — ужин исчез со стола и в мгновение ока принесен обратно: горячий, дымящийся, вкусный.

Луара и та смягчилась.

— Ну ладно,— сказала она.

— Я тоже так думаю,— обрадовался Денби.— Я же говорил, что она умеет готовить. Теперь тебе не придется жаловаться на заедание кнопок, поломку ногтей и...

— Ну помолчи, Джордж. Хватит об этом.

Лицо жены вновь приняло нормальное для нее выражение ограниченности, которое в обычных условиях, вместе с темными горящими глазами и сильно накрашенным ртом даже

придавало ей некоторую привлекательность. Но сейчас грудь Луары воинственно вздымалась, и она выглядела довольно грозной в своем новом золотисто-алом халате. Чтобы не осложнять положения, Денби решил промолчать. Он взял ее за подбородок и поцеловал в губы.

— Пойдем-ка есть.

Денби почему-то совсем забыл о Биле. Глянув из-за стола, он увидел собственного сына, стоящего в дверях и зло поглядывавшего на мисс Джоунс, которая в эту минуту варила кофе.

— Она не должна бить меня! — заявил Бил в ответ на пропительный взгляд отца.

Денби рассмеялся. Теперь, когда сражение было наполовину выиграно, он чувствовал облегчение. Другой половиной можно заняться попозже.

— Конечно, не будет! — сказал он. — Иди сюда, садись ужинать. Будь хорошим мальчиком.

— И поторопись, — добавила Луара. — Сейчас начнется фильм «Ромео и Джульетта», так что давай побыстрей.

Бил смягчился.

— Вот это здорово! — Однако, проходя на кухню, чтобы усесться за стол, он обошел мисс Джоунс стороной.

...Ромео Монтеки ловко свернул сигарету, сунул ее в рот, скрытый от взоров телезрителей огромным сомбреро, и, прикурив от кухонной зажигалки, направил свои стопы по залитому лунным светом склону холма к ранчо Капулетти.

«Мне, надо полагать, поостеречься лучше малость, — начал он свой монолог. — Ведь эти подлые Капулетти, простолюдины — пастухи, являющиеся кровными врагами моих родных и близких, благородных скотоводов, пристрелят меня так, что и пикнуть не успеешь. Впрочем, девчонка, которой я свидание назначил, стоит небольшого риска».

Денби нахмурился. Он не имел ничего против переделывания классиков на современный лад, однако ему казалось, что на сей раз переделыватели зашли чересчур далеко в своем увлечении ковбойскими киновоевиками. Но Луару с Билом это, видимо, несколько не тревожило. Они с таким увлечением, склонившись вперед к экрану, смотрели картину, что невольно думалось — переделыватели классиков знают свое дело.

Даже мисс Джоунс и та вроде бы заинтересовалась. Правда, Денби тут же подумал, что вряд ли она может увлечься картиной. Ведь как бы разумно ни светились ее голубые глаза,

единственное, что она, сидя здесь, фактически делает, так это попросту расходует батареи питания. Денби не мог последовать совету Луары и выключить учительницу. Было бы жестоко лишить ее жизни, пусть даже временно...

Он раздраженно заерзал в своем видеокресле, опомнившись: «Фу, черт, придет же в голову такая чепуха!» — и тут же обнаружил к собственной досаде, что нить пьесы им потеряна. К тому моменту, когда он снова стал понимать, что к чему, Ромео уже перелез через ограду ранчо Капулетти, прошел через парк и встал под низким балконом в безвкусном, аляповатом цветнике.

Джюльетта открыла старинные французские двери, выглядевшие на общем фоне нелепым анахронизмом, и вышла на балкон. На ней была коротенькая мини-юбка и широкополое сомбреро, которое увенчивало ее крашенные, светлые локоны. Она склонилась над перилами балкона, всматриваясь в гущу сада.

— Ромео, где ты? — протянула она.

— Что за чепуха! — неожиданно раздался голос мисс Джоунс. — Эти слова, костюмы, место действия — какая-то пошлятина.

Денби с удивлением уставился на нее. Он вспомнил вдруг, что владелец магазина говорил, будто учительница реагирует не только на слова, но и на сцены и события. В тот момент он полагал, что старичок имеет в виду сцены и события, непосредственно связанные с ее педагогическими обязанностями, а не любые...

Его охватило неприятное предчувствие. Он заметил, что Луара и Бил перестали смотреть пьесу и с нескрываемым удивлением разглядывают мисс Джоунс. Минута была критической.

Он откашлялся.

— Пьеса не так уж плоха, мисс Джоунс. Это просто переделка. Понимаете, оригиналы никто не хочет смотреть, а раз так, какой же смысл тратить на их постановку.

— Но зачем понадобилось переделывать Шекспира в боевик?

Денби с тревогой глянул на свою жену. Удивление в ее глазах сменилось бурным негодованием. Он не торопясь повернулся к мисс Джоунс.

— Сейчас боевики распространились словно эпидемия. Похоже, что возражается ранний период телевидения. Боевики нравятся людям, поэтому рекламные агентства, естест-

венно, заказывают их. Писатели-сценаристы идут на поводу у заказчиков и рыщут в поисках новых сюжетов.

— Джульетта в мини-юбке... Это ниже всякой критики!

— Ну, хватит, Джордж,— голос Луары был холоден и резок.— Я тебе говорила, что она отстала на пятьдесят лет. Либо ты выключишь ее, либо я уйду спать!

Денби со вздохом поднялся. Он испытывал стыд, когда подошел к мисс Джоунс и нащупал у нее за ухом маленькую кнопку. Учительница глядела на него спокойным, немигающим взглядом, руки неподвижно покоились на коленях, воздух ритмично проходил сквозь синтетические ноздри.

Это напоминало убийство. Денби прямо передернуло, когда он вернулся и сел в свое видеокресло.

— Ты и твои учительницы...— начала было Луара.

— Заткнись,— коротко сказал Денби.

Он уставился на экран, сиюсь вникнуть в суть пьесы. Но из этого ничего не получалось, он оставался равнодушным. Потом начали передавать другую вещь — детектив под названием «Леди Макбет». Фильм нагнал на него еще большую скуку. Он продолжал изредка поглядывать на мисс Джоунс. Теперь, когда дыхание ее замерло, глаза закрылись, комната показалась ему страшно пустой.

Наконец он не выдержал и встал.

— Пойду прокачусь немного,— бросил он на ходу Луаре и вышел.

Он вывел из гаража бьюик и направился по тихой улочке к бульвару, вновь и вновь спрашивая себя, почему его так взволновала какая-то устаревшая учительница. Он понимал, что тут не просто тоска по прошлому, безвозвратно ушедшему, хотя тоска и играла в этом определенную роль — тоска по сентябрю, по настоящей школе. Ему до страсти захотелось прийти снова сентябрьским утром в класс и увидеть, как учительница выходит после звонка из маленького кабинета, поднимается к доске и говорит:

— Доброе утро, мои маленькие друзья! Какой сегодня чудесный день для занятий, не так ли?

Нет, он не больше других ребят любил школу и сейчас понимал, что сентябрь воплощает в себе не просто учебники и юные мечтания. Этот месяц являлся символом чего-то такого, что он потерял навсегда, чего-то неопределенного, но крайне нужного ему сейчас.

На своем бьюике он обгонял спешащие автомобилеты. Свернув на боковую улицу, ведущую к бару Френдли Фреда

он заметил на углу новый небольшой павильон, а рядом объявление:

**Скоро! Скоро!**

**Открывается сосисочная с жаровней на настоящем древесном угле.**

**Будут настоящие горячие сосиски, поджаренные на настоящем огне!**

Он проехал дальше по сверкающей вечерними огнями улице, втиснулся на стоянку автомобилетов вблизи бара Фреда и, вылезши из бьюнка, направился к дверям. Бар был переполнен, но Денби посчастливилось найти свободную кабинку. Он закрылся в ней, сунул четвертак в щель распределителя напитков и набрал номер пива. Когда в запотевшем от холода бумажном стаканчике пиво появилось на столике, он принялся задумчиво потягивать его. Маленькая душная кабинка пропиталась запахом какой-то синтетической дряни, которую пил предшествующий посетитель. Денби на минутку отвлекся от своих мыслей. Он помнил этот бар еще с тех незапамятных времен, когда крошечных отдельных кабинок на одного человека не было и в помине и можно было стоять бок-о-бок с другими завсегдатаями и наблюдать, кто как пьет и сколько пьет. Затем его мысли вернулись к мисс Джоунс.

Над распределителем напитков виднелся маленький экран с надписью: «Есть неприятности? Включитесь на бармена Френдли Фреда — он выслушает вас! (Только 25 центов за 3 минуты разговора)».

Денби сунул четвертак в щель автомата. Послышался легкий щелчок, и монета загремела в тарелке возврата денег, а записанный на пленку голос Фреда произнес: «Сейчас заняты! Позвоните попозже!»

Выждав некоторое время и заказав другой стаканчик пива, Денби снова сунул монету в щель автомата. На сей раз экран двухсторонней телесвязи загорелся и на нем четко возникло полное, румяное приветливое лицо Френдли Фреда.

— Хеллоу, Джордж, как она жизнь?

— Да ничего, не так уж плохо, Фред, не так плохо.

— Однако не мешало бы лучше, так ведь?

Денби кивнул головой.

— Ты отгадал, Фред, что верно, то верно.

Он взглянул на столик, где в одиночестве стоял стакан с пивом.

— Слушай, Фред... я... я купил школьную учительницу,— сказал он.

— Учительницу?

— Да. Я понимаю, вещь не совсем обычная, но я думал, быть может, ребенку потребуется помощь в подготовке уроков по телевидению — скоро экзамены, а сам понимаешь, как ребята переживают, когда дают неправильные ответы и не получают награды. А потом, я думал, она... Это, понимаешь, особенная учительница. Я думал, она сможет помочь Луаре по дому. Такие вещи...

Денби замолчал и глянул на экран. Френдли Фред важно кивал головой. Его толстые румяные щеки колыхались.

Потом он сказал:

— Послушай, Джордж! Брось-ка ты эту училку. Слышишь? Брось ее. Эти учителя-андронды ничуть не лучше прежних настоящих учителей, ну тех, я имею в виду, которые дышали и жили, как мы с тобой. Поверь мне, Джордж, я знаю. Они обычно бьют детей. Это точно. Бьют их за...

Тут послышалось какое-то жужжание и экран погас.

— Время истекло, Джордж. Хочешь поговорить еще на четвертак?

— Нет, спасибо,— ответил Денби.

Он осушил стакан и вышел.

Почему никто не любит школьных учителей и почему в таком случае всем нравятся телепедагоги?

Весь следующий день на работе Денби размышлял над этим парадоксом. Пятьдесят лет назад казалось, что учителя-андронды решат проблему образования столь же капитально, как снижение цен и размера личных автомашин разрешило экономические проблемы столетия. И действительно, проблема нехватки преподавательских кадров полностью отпала, однако тут же возникло другое — недостаток школьных помещений. Что из того, что учителей много, если заниматься негде. А как можно ассигновать достаточную сумму на постройку новых школ, когда в стране не хватает хороших шоссе-ных дорог?

Конечно, глупо было бы утверждать, что строительство новых школ важнее строительства дорог. Ведь если перестать строить новые дороги, автоматически сокращается спрос на автомобили, а следовательно, экономика падает, растет депрессия, а это ведет к тому, что строительство новых школ становится делом еще более бессмысленным и ненужным, чем вначале.

Теперь, когда этот вопрос уяснен, нужно откинуть прочь ненависть к компании пищевых концентратов. Введя телеобучение, они спасли положение. Один педагог, стоящий в маленькой комнате с классной доской на одном конце и телекамерой на другом, может обучать сразу чуть ли не пятьдесят миллионов детей, а если кому-то из них не понравится, как он преподает, все, что нужно сделать, так это переключиться на другой канал телепередачи. Разумеется, родители должны следить, чтобы ребенок не перескакивал из одного класса в другой, более высший, и не настраивался на программу следующего года обучения без предварительной сдачи переходных экзаменов.

Главное же в этой конгенитальной системе обучения заключалось в том приятном факте, что компании пищевых концентратов платили за все, освобождая тем самым налогоплательщиков от одного из самых обременительных расходов, оставляя его кошелечек более податливым к уплате различных пошлин и налогов. И единственное, что компании просили взамен от общества, так это, чтобы ученики (и по возможности родители) потребляли их пищевые концентраты.

Таким образом, никакого парадокса и в помине не было. Школьную учительницу предали анафеме, ибо она символизировала собой дополнительные расходы для налогоплательщиков; телепедагог являлся уважаемым слугой общества потому, что он давал людям весьма ощутимую надбавку в их бюджете. Но Денби понимал, что последствия оказались более серьезными.

Несмотря на то что ненависть к школьной учительнице представляла собой некий атавизм, злоба эта была в основном порождением той пропагандистской шумихи, которую подняли компании пищевых концентратов, когда впервые приступили к осуществлению своего плана. Именно они ответственны за широкое распространение мифа, будто учителя-андроиды бьют учеников, и этот жупел до сих пор еще пугает иннакомыслящих.

Беда в том, что большинство людей обучались по телевидению и, следовательно, не знали истины. Денби представлял счастливое исключение. Он родился и вырос в маленьком городе, расположенном высоко в горах, затруднявших и делавших невозможным прием телепередач, и ему пришлось, прежде чем его семья переехала в большой город, ходить в настоящую школу. Он-то знал, что учительницы никогда не били и не бьют своих учеников.

Конечно, могло случиться, что фирма «Андрондс инкорпорейшн» выпустила по ошибке две-три неудачные модели, да и то вряд ли. «Андрондс инкорпорейшн» была фирмой солидной. Возьмите, например, рабочих для работы на станциях обслуживания автомобилеттов или отличных стенографисток, официанток и домработниц, которых она выпускает в продажу. Конечно, рядовой служащий или средний домовладелец не может себе позволить купить их. Так почему же тогда Луаре не удовольствоваться (мысли Денби путались, перескакивали с одного предмета на другой) временной служанкой?

Однако она не удовольствовалась. Когда он вечером вернулся с работы домой, ему достаточно было бросить беглый взгляд на Луару, чтобы тут же, без всяких колебаний установить, что она недовольна их приобретением.

Никогда прежде он не видел у нее такого красного лица и гневно сжатых губ.

— Где мисс Джоунс? — спросил он.

— Она в коробке, — ответила Луара. — И завтра же утром ты отвезешь ее туда, откуда привез, и получишь обратно наши сорок пять долларов!

— Она больше не будет бить меня! — сказал Бил, сидя по-индейски на корточках перед телевизором.

Денби побелел.

— Она его била?

— Почти, — ответила Луара.

— Била или нет? — повторил Денби.

— Мам, расскажи ему, что она сказала о моем телепедагоге! — закричал Бил.

Луара презрительно фыркнула.

— Она сказала: стыд и срам делать из классической вещи, такой, как «Илиада», ковбойско-индейскую мелодраму и называть это образованием.

Дело постепенно прояснилось. Очевидно, мисс Джоунс сразу же, как только Луара включила ее утром, начала интеллектуальную борьбу и продолжала ее вести до тех пор, пока ее не выключили. По мнению мисс Джоунс, все в доме Денби обстоило не так, как надо: и телеобразовательные программы Била, которые транслировались по маленькому телевизору в детской; и дневные программы большого, установленного в гостиной телевизора, развлекавшие Луару; и рисунок обоев в вестибюле — маленькие красные кадилетты, стремительно мчащиеся по переплетениям дорог; и полное отсутствие в доме книг.

— Только представь, она воображает, что у нас до сих пор еще издаются книги,— сказала Луара.

— Все, что я хочу знать,— сказал Денби твердо — так это была она или нет?

— Я подхожу к этому...

Часов около трех дня мисс Джоунс прибирала в детской. Бил послушно смотрел урок по телевидению, сидя за партой — такой смирный и хороший, просто загляденье — весь поглощенный усилиями ковбоев захватить индейскую деревушку под названием Троя. Вдруг учительница совершенно неожиданно, словно сумасшедшая, пересекла комнату и с кощунственными словами относительно подобной переделки «Илиады» выключила телевизор прямо на полуроке. Бил поднял крик, и Луара, когда ворвалась в детскую, увидела, как мисс Джоунс держит одной рукой его за плечо, а другую подняла, готовясь дать ему подзатыльник.

— Хорошо, что я подросла вовремя,— заявила Луара. — Незачем говорить, что она могла сделать. Она же убила бы его.

— Мне что-то не верится во все это,— сказал Денби. — А что потом произошло?

— Я вырвала Била и приказала ей вернуться в коробку. Затем я выключила ее и закрыла крышку. И знайте, Джордж Денби, коробка останется закрытой. И, как я сказала, завтра утром вы отвезете ее обратно... если хотите, чтобы мы с Билом оставались жить в этом доме!

Денби весь вечер пребывал в раздраженном состоянии. Он ворчал за ужином, томился при просмотре очередного кинобоевика, то и дело, когда был уверен, что Луара на него не смотрит, поглядывая на стоящую безмолвно возле дверей закрытую коробку.

Главная героиня фильма — блондинка-танцовщица (объем бюста 39 дюймов, талии — 24, бедер — 38) — звалась Антигоной. Кажется, два ее брата убили друг друга во время перестрелки из пистолетов, и местный шериф, герой по имени Креонт, — разрешил похоронить только одного из них, необоснованно настаивая на том, что другого следует бросить на пустыре на растерзание зверям. Антигона совершенно не в силах понять логики этого приказа. Она говорит, что если один из братьев достоин погребения, то другой заслуживает его ничуть не меньше. Она просит свою сестру Исмену помочь ей похоронить второго брата. Робкая и слабохарактерная Исмена отказывается, поэтому Антигона заявляет: раз так, она одна

справится с этим и совершит все нужные обряды над убиенным. Затем в городе появляется дряхлый старатель Тиресей...

Денби медленно поднялся, прошел на кухню, а затем через черный ход вышел на улицу. Он уселся за руль своего бьюика и направился к бульвару, опустив стекла, чтобы теплый летний ветер освежил его. Он проехался взад и вперед по бульвару.

Строящаяся на углу улицы сосисочная была почти готова. Он скользнул по ней безразличным взглядом, когда сворачивал на боковую улицу. Бар Френдли Фреда был пуст наполовину, и Денби закрылся в первой свободной кабинке. Он выпил в одиночестве пару стаканов пива, стоявших на маленьком голом столике, и крепко призадумался. Потом, прикинув, что жена с сыном уже спят, он вернулся домой, открыл коробку мисс Джоунс и включил ее.

— Вы сегодня намеревались побить моего сына? — спросил он.

Голубые глаза открыто смотрели на него, ресницы ритмично вздымались и опускались, расширенные зрачки медленно сузились под действием яркого света лампы, которую Луара оставила горящей в гостиной.

Наконец мисс Джоунс ответила:

— Сэр, я не могу ударить человека. Полагаю, это записано в моем гарантийном паспорте.

— Боюсь, мисс Джоунс, ваш гарантийный срок давно истек, — возразил Денби грубо и добавил, — впрочем, сейчас это не имеет значения. Вы схватили его за руку, так?

— Да, сэр.

Денби нахмурился. Его слегка качало, когда он поплелся обратно в гостиную на ставших вдруг ватными ногах.

— Миш... мисс Джоунс, подите-ка сюда, сядьте и расскажите все по порядку, — сказал он.

Он смотрел, как она вылезла из коробки и пошла по комнате. Было что-то странное в ее походке. В ней не чувствовалось прежней легкости: мисс Джоунс двигалась неуклюже, а ее прямой стан как-то скособочился. Он с первого же ее шага понял, что она хромает.

Мисс Джоунс тяжело опустилась на кушетку, а он присел рядом с ней.

— Он, наверное, пнул вас ногой, так? — спросил Денби.

— Да, сэр. Мне пришлось схватить его за руку, чтобы он еще раз не ударил.

Красный туман разлился по комнате и поплыл перед его глазами.

Потом туман медленно рассеялся, однако в душе остался какой-то неприятный осадок.

— Я страшно огорчен, мисс Джоунс. Боюсь, Бил слишком агрессивен.

— Вряд ли его можно винить в чем-либо, сэр. Я сегодня была совершенно ошеломлена, когда узнала, что ужасные телепередачи, которые он смотрит во время уроков, составляют его единственную духовную пищу. Ведь его телеучитель лишь немногим лучше полуобразованного члена конгресса, чьей главной заботой является стремление помочь своей компании выгодно сбыть очередную партию кукурузных хлопьев. Теперь мне понятно, почему ваши писатели вынуждены обратиться за идеями к классике. Их творческие силы разрушаются штампами еще до того, как вышли из эмбрионального состояния.

Денби был потрясен. Никогда еще до этого ему не приходилось слышать такого. Поражали не только слова, какими это было сказано, а и убежденность, сквозившая в интонациях учительницы, в ее голосе — хотя он исходил из искусно смонтированного громкоговорителя, связанного с невообразимо сложными блоками памяти.

Так сидя рядом с мисс Джоунс, следя за каждым движением ее губ, видя частый взмах ее черных ресниц над иссиня-голубыми глазами, он почувствовал, что к ним в дом пришел сентябрь месяц и сидит в гостиной. Внезапно чувство глубокого умиротворения охватило Денби. Богатые, полные изобилия сентябрьские дни проходили длинной чередой перед его глазами, и он понял, чем они отличались от остальных дней: осенние дни были полны содержания, красоты и спокойствия, ибо их голубое небо вселяло надежду и уверенность, что наступят дни еще более богатые и содержательные...

Они отличались тем, что были полны смысла.

Мгновение было столь мучительно сладостным, что Денби страстно хотел, чтобы оно оказалось вечным. Даже мысль, что оно пройдет, потрясла его невыносимой болью, и он инстинктивно сделал то единственное, что мог сделать: он повернулся к мисс Джоунс и обнял ее за плечи.

Она не шелохнулась и продолжала сидеть спокойно, грудь ее равномерно вздымалась и опадала, длинные черные ресницы взмахивали словно крылья птицы, скользящей над голубыми прозрачными водами...

— Скажите, чем вам не понравилась вчерашняя постановка «Ромео и Джульетта»? — спросил он.

— Она просто ужасна, сэр. Это же по сути пародия, дешевка, где красота шекспировских строк или искажена или утрачена совершенно.

— Вам известны эти строки?

— Да, часть.

— Прочтите их мне, пожалуйста.

— Хорошо. В конце сцены у балкона, когда двое влюбленных расстаются, Джульетта говорит:

Желаю доброй ночи сотню раз!  
Прощанье в час разлуки  
Несет с собою столько сладкой муки,  
Что до утра могла б прощаться я...\*

А Ромео отвечает:

Спокойной ночи очам твоим, мир — сердцу!  
О, будь я сном и миром, чтобы тут  
Найти подобный сладостный приют.

— Почему они выбросили это, сэр? Почему?

— Потому, что мы живем в обесцененном мире, — ответил Денби, удивленный собственной пронизательностью, — а в дешевом мире, таком, как наш, драгоценности души ничего не стоят. Повторите, пожалуйста, еще раз эти строки, мисс Джоунс.

Желаю доброй ночи сотню раз!  
Прощанье в час разлуки  
Несет с собою столько сладкой муки,  
Что до утра могла б прощаться я...

— Дайте мне закончить, — Денби сосредоточился:

Спокойной ночи очам твоим, мир — сердцу!  
О, будь я сном или миром, чтобы... сладостный...  
Чтобы найти сладостный приют!

Вдруг мисс Джоунс резко встала.

— Доброе утро, мадам, — сказала она.

Денби встать не удосужился. Да ни к чему хорошему это все равно не привело бы. Он достаточно хорошо знал свою жену. Она стояла в дверях гостиной в новой пижаме, разрисованной кадилеттами. Когда она крадучись спускалась по лестнице, ее босые ноги не вызывали ни шороха. Двухмест-

---

\* Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

ные кары на ее пижаме выделялись ярко-красными пятнами на золотистом фоне, и, казалось, Луара опрокинулась навзничь, а они неистово носятся по ее телу, дефилируя по ее роскошной груди, животу, ногам...

Он увидел ее заострившееся лицо, холодные безжалостные глаза и понял, что бесполезно ей что-либо объяснять, что жена не захочет, да и не сможет его понять. Он увидел с потрясающей ясностью, что в мире, в котором живет, сентябрь ушел на долгие годы, и четко представил, как этим утром грузит коробку с учительницей на машину и везет ее по сверкающим городским улицам в маленькую лавочку подержанных вещей. Ему отчетливо представились двери магазина, но тут он очнулся и, посмотрев по сторонам, увидел, как мисс Джоунс стоит в какой-то нелепой позе перед Луарой и повторяет словно испорченный патефон: «Что случилось, мадам... Что случилось...»

Несколько недель спустя Денби вновь захотелось побывать в баре Френдли Фреда и пропустить пару пива. К этому времени они с Луарой уже помирились, но то был уже не прежний мир. Денби вывел автомашину, выехал на улицу и погнал к сверкающему огнями бульвару. Стоял чудный июньский вечер, звезды булабочными головками утыкали небо и сверкали над залитым неоновым светом городом.

Сосисочная, что строилась на углу улицы, была открыта. У сверкающего хромированного прилавка виднелось несколько посетителей, а у пламенеющей жаровни официантка переворачивала шипящие шницеля. Было что-то странно знакомое в том, как она двигалась, в ярком каскаде ее платья, в мягких, цвета восходящего солнца волосах, обрамлявших кроткое лицо... Ее новый владелец стоял в некотором отдалении, грузно склонившись над прилавком, и о чем-то оживленно беседовал с клиентом.

В груди Денби тревожно заняло. Он резко остановил машину, вылез и, перешагнув цементный порог, направился к буфетной стойке — кровь ударила ему в голову, в нем все напряглось, как перед боем. Есть вещи, мимо которых вы не можете пройти равнодушно, вы непременно вмешиваетесь, не задумываясь над последствиями. Он подошел к прилавку, где стоял хозяин сосисочной, и уже собирался, перегнувшись через стойку, ударить по толстой загорелой физиономии, как вдруг увидел маленькое картонное объявление, прислоненное к горчичнице, на котором было написано:

**Требуется мужчина...**

От сентябрьского класса школы до сосисочной лежит долгий путь, и учительница, раздающая жареные сосиски, не идет ни в какое сравнение с учительницей, разносящей вокруг мечты и надежды. Но коли вам чего-то страстно хочется, вы любой ценой, но своего добьетесь.

— Я могу работать только вечерами,— сказал Денби владельцу сосисочной.— Скажем, от шести до двенадцати...

— Что ж, прекрасно,— ответил тот.— Правда, боюсь, что я не смогу платить сразу помногу. Понимаете ли, дело едва открылось...

— Не беспокойтесь,— сказал Денби.— Когда мне приступить?

— Чем скорее, тем лучше...

Денби обогнул буфетную стойку, зашел за прилавок и снял пиджак. Если Луаре это не понравится, пусть катится к чертям. Впрочем, он знает, что дома будут довольны, ибо деньги, которые он здесь зарабатывает, дадут жене возможность купить предмет ее мечтаний — новый кадилетт.

Он напялил на себя фартук, что вручил ему владелец сосисочной, и присоединился к мисс Джоунс, стоящей у жаровни с настоящим древесным углем.

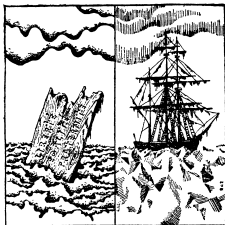
— Добрый вечер, мисс Джоунс,— сказал он.

Она обернулась, и ему показалось, что глаза ее вспыхнули, а волосы засверкали словно солнце, встающее туманным сентябрьским утром.

— Добрый вечер, сэр,— ответила она, и по сосисочной в этот июньский вечер прошелся сентябрьский ветерок; стало похоже, что после бесконечно длинного скучного лета наступил новый, полный смысла учебный год.

---

## ПАРИЖСКИЙ КОММУНАР — СОАВТОР ЖЮЛЯ ВЕРНА



### ПАСКАЛЬ ГРУССЕ

10 января 1870 года. Париж. Разъяренная толпа осаждает особняк принца Пьера Бонапарта. Раздаются возгласы: «Смерть убийце!», «Покончим с деспотизмом!», «Долой Наполеона Третьего!», «Всех Бонапартов на фонари!», «Да здравствует республика!» В толпу врывается конная полиция. Мостовые обогреты кровью. В рабочих предместьях возникают стихийные митинги.

В этот день двоюродный брат французского императора выстрелом из револьвера убил двадцатилетнего Виктора Нуара, сотрудника республиканской газеты «Марсельеза». Юноша явился к Пьеру Бонапарту в качестве секунданта своего друга Паскаля Груссе — с вызовом на дуэль.

На совести Пьера Бонапарта было немало бесчестных поступков и черных дел. Он жаждал славы и денег. Славу заменяли ему скандальные похождения в разных странах Европы, а денег катастрофически не хватало. Наполеон III стеснялся пускать к себе во дворец этого родственника и, несмотря на все домогательства, не предоставлял доходных должностей. Обиженный принц завидовал императору и ненавидел его. Но еще больше он ненавидел республиканцев. Желая выслужиться и получить доступ ко двору, Пьер Бонапарт занялся сочи-

нением пасквилей на деятелей республиканской оппозиции и редакторов прогрессивных газет.

Оскорбительным нападкам представителя царствующей фамилии подверглась «Марсельеза», которую издавал талантливый публицист Рошфор, и корсиканская газета «Реванш», осмелившаяся критиковать самого императора и его ближайших сановников.

Паскаль Груссе сотрудничал в обеих газетах. Это был человек радикальных убеждений, кипучей энергии, широких интересов. Он родился в 1845 году на Корсике в семье преподавателя лицея. Через всю его жизнь проходит увлечение спортом. С детских лет он закалял свое тело физическими упражнениями, отличался выносливостью, бегал и плавал на большие дистанции. Любовь к спорту привела его на медицинский факультет Сорбонны. Было у него и желание заняться педагогической деятельностью, воспринятое, очевидно, от отца. Но ни медиком, ни педагогом Груссе не стал. Участие в политической борьбе на стороне республиканской партии сделало его журналистом.

Во второй половине 60-х годов Паскаль Груссе выпустил несколько остроумных памфлетов, направленных против бонапартистской клики, и эти сочинения создали ему известность.

Вызывая на дуэль Пьера Бонапарта, Груссе, конечно, не мог предвидеть всех последствий своего смелого поступка. Самое большее, на что он мог рассчитывать, — привлечь внимание общественности к негодяю принцу, заклеить позором прожженного авантюриста. Легко было догадаться: он не примет вызова на дуэль. Но зато можно будет нанести ему чувствительный удар в печати! А то, что он пойдет на подлое преступление — застрелит секунданта, то, что он бросит вызов всей передовой Франции и не побоялся скомпрометировать Наполеона III, — такого «подвига» нельзя было ожидать даже от Пьера Бонапарта...

Дальнейшие события показали, как была накалена атмосфера, какую ненависть посеял в народе деспотический режим Второй империи.

На следующий день после убийства Виктора Нуара «Марсельеза» вышла в траурной рамке со статьей — прокламацией Рошфора, где содержались такие слова: «Вот уже восемнадцать лет, как французский народ находится в окровавленных руках этих разбойников. Французский народ, разве ты не считаешь, что пора этому положить конец?»

В день похорон Нуара в парижском предместье Нейи

собралась громадная демонстрация. Тысячи полицейских и солдат оцепили центр города, чтобы не допустить демонстрантов к кладбищу Пер-Лашез. С большим трудом властям удалось восстановить порядок. Но не надолго! Оправдание Пьера Бонапарта Верховным судом вызвало новую манифестацию. За все годы царствования Наполеона III революция не была так близка.

Благодаря удивительному стечению обстоятельств молодой журналист Паскаль Груссе дал толчок этим историческим событиям, о которых говорили тогда во всем мире.

А пока суд да дело, его бросили вместе с Рошфором в тюрьму «до особого распоряжения императора». Но императору было не до них: началась франко-прусская война.

Седанская катастрофа положила конец позорному царствованию Наполеона III. 4 сентября 1870 года, в день провозглашения Республики, политические заключенные получили свободу.

Неугомонный Груссе становится главным редактором возобновленной «Марсельезы» и уже в первом номере высказывается за решительную революцию, за «демократическую и социальную республику».

Карл Маркс, одобряя позицию «Марсельезы», в письме к Энгельсу от 10 сентября 1870 года назвал Паскаля Груссе человеком очень дельным, твердым и смелым\*.

С первых же дней Парижской Коммуны Груссе — не только ее активный участник, но и видный деятель, близкий к революционному большинству. Он возглавлял в Совете Коммуны комиссию внешних сношений, иными словами, был министром иностранных дел.

Одновременно Груссе издавал газету «Освобождение». В одной из статей, помещенных в ней, подчеркивалась роль рабочего класса в революции: «День 18 марта навсегда останется в истории нашей страны как одна из самых прекрасных страниц. Впервые рабочий класс выступил на политическую арену».

Однако Паскаль Груссе, как и подавляющее большинство руководителей Коммуны, не был пролетарским революционером. Призывая к «решительной революции», он в практических действиях проявлял нерешительность. Поддерживая власть рабочих, он возлагал иллюзорные надежды на примирение борющихся классов.

---

\* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 33, стр. 51.

Маркс и Энгельс, пристально следя за событиями, не раз указывали на тактические ошибки коммунаров, критиковали публицистов и политиков, вроде Паскаля Груссе, Жюля Валеса, Феликса Пиа, не сумевших противостоять мелкобуржуазной стихии, дать отпор анархистам и раскольникам.

Непродуманная тактика и колебания руководителей Коммуны, в том числе и Груссе, ускорили ее гибель. Тем не менее имя этого человека, защищавшего на баррикадах завоевания революции, связано навсегда с героической историей 72-х дней.

Разгром Парижской Коммуны войсками генерала Галифе сопровождался кровавыми оргиями версальцев. Груссе некоторое время скрывался в тайном убежище, потом был обнаружен, предстал перед военным судом и отправлен с другими уцелевшими коммунарами «на вечное поселение» в Новую Каледонию.

Осужденных поместили на полуострове Дюко, пустынном мысе, с трех сторон отрезанном от внешнего мира морем и с четвертой — колючей оградой, бдительно охраняемой часовыми. Тропическая лихорадка, убийственный климат, полчища москитов в первые же месяцы свели в могилу несколько десятков человек, не считая тех, кто умерли в пути, не выдержав длительного заключения в тесноте и смраде корабельного трюма.

Коммунары сами себе строили хижины из глины и тростника и сами должны были добывать себе пищу. Администрация лагеря пропитанием не обеспечивала. Каждый мог получать из дому деньги и покупать что угодно в местной кантине или у торговцев, приезжающих из ближайшей гавани Нумеа. Разрешалось заниматься огородничеством, ловить рыбу с берега и даже батрачить у окрестных фермеров. За малейшую провинность секли воловьими жилами.

Режим, на первый взгляд не столь уж суровый, в действительности был изощренно жестоким. Помощь из Франции поступала нерегулярно, и не каждый мог ее получить. Коммунаров косили не только болезни, но и голод.

Груссе с Рошфором построили хижину за грядой холмов, на песчаной отмели, где как будто было меньше москитов, но еще немилосерднее жгло экваториальное солнце.

Единственной радостью были книги, попавшие в Новую Каледонию с теми, кто не мог без них обойтись. Из рук в руки передавались романы Жюль Верна. Страстной поклонницей его была Лунза Мишель, заразившая своим увлечением Пас-

каля Груссе. Один из журналистов, побывавших на «проклятом острове», с удивлением увидел в хижине, над койкой Груссе, портрет знаменитого писателя. Действительно, было чему удивляться! «Отчаянный коммунар» зачитывался юношескими романами...

Как только Рошфор и Груссе немного обжились на новом месте, они тщательно разработали план бегства, выбрали третьего компаньона — коммунара Журда и стали исподволь готовиться к осуществлению почти безнадежного замысла.

Все трое были отличными пловцами. Пользуясь относительной свободой общения с торговцами из Нумеа, они сумели связаться с нужными людьми и в условленный день и час пустились вплавь в открытое море. Высокая волна не мешала им достичь шлюпки, высланной австралийским угольщиком, пританчившимся за близлежащим атоллom. Была бурная ночь, и бегство удалось. Смелчаки счастливо добрались до Мельбурна, а оттуда, после многих мытарств, переправились в Англию.

Первое, что сделал Груссе по прибытии в Лондон, — написал вместе с Журдом обличительную книгу — «Политические заключенные в Новой Каледонии», в которой поведал миру утаенную правду о бесчеловечном обращении правительства республиканской Франции с благородными мучениками свободы. В том же 1874 году книга была издана в Женеве.

О подготовке и обстоятельствах легендарного побега трех коммунаров из неприступного лагеря в Новой Каледонии позднее рассказал Рошфор в третьем томе мемуаров «Приключения моей жизни».

В Лондоне Паскаль Груссе жил и писал под именем Филиппа Дария. Этим псевдонимом он подписывал свои статьи и корреспонденции для парижских газет, книги о физическом воспитании и на спортивные темы, нравоописательные и бытовые очерки. Из всего этого обратила на себя внимание книга «Жизнь повсюду».

Амнистия коммунарам, объявленная в 1880 году, позволила ему вернуться на родину.

#### АНДРЕ ЛОРИ

Нужно было начинать все сначала. Политическая карьера рухнула. Журналистика не сулила успеха. Правительство «республики без республиканцев» держало на подозрении акти-

вистов Коммуны и ходу им не давало. Груссе решил попробовать себя в юношеской литературе. У него были блестящие идеи, запас жизненных наблюдений и много продуманных замыслов.

Он предложил свои услуги Этцелю, прогрессивному издателю, выпускавшему вместе с Жюлем Верном двухнедельный иллюстрированный «Журнал воспитания и развлечения» («Magasin d'Education et de Récréation»). Вокруг Этцеля и его издательства группировались лучшие писатели, талантливые художники, ученые, педагоги, считавшие своей жизненной задачей служить молодому поколению, воспитывать его в гуманном демократическом духе.

В этом журнале печатались из номера в номер романы Жюль Верна — те самые «Необыкновенные путешествия», которые немедленно переводились на разные языки и создали писателю мировую славу.

В этом журнале публиковали свои произведения для детей и юношества Эркман-Шатриан, Гектор Мало, выдающийся педагог Жан Масэ, сам Этцель, выступавший в печати под псевдонимом Сталь, крупнейший географ Франции Элизе Реклю и его соратница по Парижской Коммуне Андре Лео (псевдоним Леони Шансе) и многие, многие другие.

В журнале печатала рассказы сотрудница Этцеля Марко Вовчок.

В 1881 году в «Журнале воспитания и развлечения» появился новый автор — никому не ведомый Андре Лори. Он выпускал книгу за книгой и вскоре приобрел известность. Вплоть до 1906 года, пока не прекратился журнал, романы Андре Лори печатались на его страницах рядом с романами Жюль Верна.

Помимо оригинальных сочинений он издавал переводы с английского, познакомив французских читателей со многими книгами Майн Рида и с «Островом сокровищ» Стивенсона.

Однако читатели даже не подозревали, да и сейчас мало кому известно, что Андре Лори — один из нескольких псевдонимов видного публициста и политического деятеля Паскаля Груссе, защищавшего до последнего часа Парижскую Коммуну.

Итак, Паскаль Груссе превратился в Андре Лори, оставаясь в то же время Филиппом Дарнлем.

Под своим настоящим именем он опубликовал во Франции страстную книгу в защиту невинно осужденного Дрейфуса и при первой возможности возобновил политическую деятель-

ность. В 1893 году Паскаль Груссе был избран депутатом 12-го парижского округа и сохранял свой депутатский мандат после каждых очередных выборов — до самой смерти в 1909 году. В Палате депутатов он выступал от «независимых социалистов», не имевших, конечно, ничего общего с теми социалистами действия, к которым Груссе принадлежал в молодые годы, будучи редактором «Марсельезы» и участником Парижской Коммуны.

Под именем Филиппа Дария он продолжал публиковать книги, посвященные общественной жизни Англии, Ирландии и скандинавских стран, а также журналистские репортажи из Парижа, печатавшиеся в английских газетах.

Под именем Андре Лори он выпустил две многотомные серии повестей и романов.

Первая серия, которой он начал свою деятельность в юношеской литературе, озаглавлена «Жизнь школы во всех странах».

Здесь сказались давние педагогические наклонности автора. Больше всего Андре Лори ценит и пропагандирует наглядное обучение, спортивную закалку и трудовое воспитание подростков. С этой точки зрения самыми лучшими кажутся ему шведские и швейцарские школы.

Описание жизни школьников, лицейстов, гимназистов, студентов облечено в повествовательную форму. Любая книга из серии — занимательная повесть о методах воспитания детей и юношества той или иной страны.

Герои педагогических повестей Лори — учащиеся и учителя древних Афин, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Италии, Испании, Швеции, России.

Этцель гордился этой серией, видя в ней удачное осуществление своего излюбленного принципа: «Учить и воспитывать развлекая».

Книгу о русских школьниках он отправил в Россию Марко Вовчку (в то время она жила в Ставрополе) с просьбой внимательно прочесть и дать подробный отзыв. Мы не знаем, что ответила украинская писательница своему французскому другу. Только вряд ли ее отзыв мог быть особенно лестным. Русскую школу Андре Лори знал ничуть не лучше, чем древнегреческую. Курьезных ошибок и всякого рода неточностей в его повести хоть отбавляй.

Но если говорить о серии в целом, особенно о тех книгах, которые были написаны на основе личных наблюдений автора, то следует отметить положительное значение этого обширного

литературного труда, не утратившего и поныне своей исторической ценности, как одного из первых и довольно удачных опытов в области педагогической беллетристики. В дальнейшем примере Лори следовали многие писатели, ставившие перед собой сходные задачи.

Вторая серия — приключенческие и научно-фантастические романы, написанные под прямым влиянием Жюль Верна. Печатались они в «Журнале воспитания и развлечения» вперемежку с повестями о школьниках.

В серию входит 10 романов: «Наследник Робинзона», «Капитан Трафальгар», «Жерар и Колетта», «Изгнанники Земли», «От Нью-Йорка до Бреста за семь часов», «Тайна мага», «Рубин великого ламы», «Атлантида», «Лазурный гигант», «Властелин бездны».

Написаны они живым пером, легко читаются, разнообразны по сюжетам, но в общем мало оригинальны. Нередко мы находим в них неоправданное нагромождение случайностей и ошеломительных приключений. Автор использует все приемы авантюрного повествования: погони, похищения, преследования, кораблекрушения, переодевания, козни злодеев, коварные интриги, сокровища, клады, наследства и т. д. и т. п.

Преодолев множество препятствий, герои непременно достигают цели своего путешествия или осуществляют задуманное предприятие. По ходу действия вводятся познавательные сведения из разных областей знания. Романы Андре Лори проникнуты верой в созидательные силы человечества, воплощенные в научно-техническом и промышленном прогрессе. Идя по стопам Жюль Верна, родоначальника романа нового типа, в котором фантазия соединилась с наукой, Андре Лори заставляет своих героев изобретать машины, усовершенствовать транспортные средства, совершать научные открытия, созидать, творить, строить.

Но при этом ему явно не хватает ни таланта, ни обширных знаний своего учителя. И хотя его книги в течение нескольких десятилетий пользовались широким спросом (петербургский издатель П. П. Сойкин выпустил даже собрание сочинений Андре Лори), со временем они были забыты. Забыты настолько, что имени этого писателя не встретишь теперь ни в одном литературном справочнике. И даже в энциклопедиях, где достаточно подробно говорится о деятельности Паскаля Груссе, нет никаких указаний на его многочисленные произведения, изданные под псевдонимом Андре Лори.

Андре Лори не сказал в литературе нового слова. Иссле-

дователя он может заинтересовать лишь как спутник Жюль Верна, сопровождавший его на определенном этапе творческого пути и как представитель литературного направления сложившийся под эгидой большого мастера.

И все же увлекательность изложения, широта тематики, дерзновенность замыслов не могли не привлечь современников к романам Андре Лори, находивших в его фантастических сюжетах приключения на Луне («Изгнанники Земли») и в морских глубинах («Атлантида»), воскрешение великих исчезнувших цивилизаций («Атлантида», «Тайна мага», «Жерар и Колетта»), химический синтез драгоценных камней («Рубин великого ламы»), летательные машины («Лазурный гигант»), глубоководные аппараты наподобие современного батискафа («Атлантида») и т. п.

Сами по себе эти темы не были новыми. На более высоком уровне их разрабатывал Жюль Верн, но встречались они также и у его предшественников. Однако было бы несправедливо говорить о плагиате. Несправедливо — потому, что Лори вносил в разработку фантастических замыслов нечто новое, не говоря уже о том, что в литературе вообще нелегко найти абсолютно оригинальную тему и с точностью установить, кто первый сказал «а».

Романы Андре Лори показательны для юношеской научной фантастики того времени. На этом фоне особенно заметны достижения Жюль Верна. Читая его младшего современника, иногда поражаешься, с какой легковесностью он разворачивает фантастический сюжет, нисколько не заботясь о научных подпорках. Например, в «Изгнанниках Земли» герои притягивают к Земле Луну с помощью громадного магнита, проводят на Луне несколько недель, а потом преспокойно возвращаются на Землю тем же анекдотическим способом. В романе «Рубин великого ламы» фигурирует аэроплан большой мощности, снабженный паровым двигателем. Между тем в конце XIX века уже конструировались более эффективные двигатели — внутреннего сгорания и электрические.

Впрочем, надо быть справедливым. У Андре Лори есть и более удачные романы. Из приключенческих — «Капитан Трафальгар» и «Наследник Робинзона», из научно-фантастических — «От Нью-Йорка до Бреста за семь часов». На этом романе стоит остановиться подробнее.

Молодой изобретатель Раймон Фрезоль, француз, работающий в Америке, прокладывает через Атлантический океан трубопровод для транспортировки пенсильванской нефти. Двига-

тели, перекачивающие нефть, получают энергию от Ниагарского водопада. Неожиданно, во имя спасения чести и счастья, возникает настоятельная необходимость как можно быстрее переправиться в Европу. Раймону дорога каждая минута. Он использует специально оборудованный металлический цилиндр и за несколько часов переносится в нем по трубе с потоком нефти. Автор подробно описывает историю создания трубопровода от возникновения замысла до воплощения проекта в жизнь. Перед нами сложившийся прототип фантастического производственного романа (вспомним «Тоннель» Келлермана). Занимательность повествования усиливают непредвиденные препятствия и трудности, преодоление которых требует от изобретателя большой находчивости и выдержки. Помню решения основной задачи, Раймон еще устанавливает немислимый для того времени рекорд скорости. Книга завершается логически оправданным триумфом изобретателя.

Трудно решить, сам ли Андре Лори разработал этот фантастический замысел или «проект» был подсказан Жюлем Верном. Вместо обычного заимствования здесь — несомненное опережение. Роман «От Нью-Йорка до Бреста за семь часов» появился в 1887 году, а Жюль Верн обратился к сходному замыслу позднее — в рассказах «Поезда будущего» и в «В XXIX веке», где трансатлантический трубопровод заменен тоннелем, по которому курсируют пневматические поезда, развивающие втрое большую скорость...

Обзор творчества Андре Лори был бы не полон, если бы мы не упомянули его романы «Тайна вулкана» и «Невидимый снаряд», написанных для более подготовленных читателей. Но при том, что научно-фантастические мотивировки преобладают в них над чистой беллетристикой, к общей оценке писателя они мало что добавляют. Из этого цикла выделяется третий роман — «Спиридон немой», написанный в жанре философской аллегории. Речь идет об истории общества гигантских разумных муравьев, один из которых посещает людей и сравнивает социальную анархию человеческой жизни с разумной организацией Муравьиного мира...

Таковы романы, подписанные псевдонимом Андре Лори. Но есть еще в творчестве этого забытого писателя некие глубинные пласты, связанные с именем Жюль Верна.

В конце 1862 года счастливый случай свёл молодого литератора с Пьером Жюлем Этцелем. Ознакомившись с рукописью романа «Пять недель на воздушном шаре», умный издатель понял новизну произведения и тут же заключил с автором беспрецедентный договор на двадцать лет вперед. С тех пор, на протяжении сорока с лишним лет, Жюль Верн ежегодно передавал своему издателю один или два романа, пополнявших грандиозную серию «Необыкновенных путешествий».

В серию входит 65 романов, из коих 9 были изданы посмертно. Подготовкой к печати неопубликованных рукописей ведал сын писателя Мишель Верн. Книги, изданные в последнюю очередь, очевидно, не просто редактировались, но и были кем-то дописаны. Редактируя отцовские рукописи, Мишель Верн в затруднительных случаях, как полагают исследователи, обращался к опытным литераторам. Среди них называют Паскаля Груссе, близкого Жюлю Верну по творческим устремлениям и хорошо знавшего его лично.

Если и в самом деле это было так, то могла бы проясниться история «Кораблекрушения «Джонатана», наиболее загадочного из посмертных романов, который выделяется из всей серии необычной идейной насыщенностью. Десятки страниц занимают рассуждения о государстве и праве, свободе и необходимости, обязанностях, налагаемых законами, и действиях по велению совести. Это социально-философский роман, едва ли рассчитанный на восприятие подростков. В нем чувствуется горькое разочарование не только в буржуазной демократии, но и в тех направлениях и оттенках социалистической мысли конца прошлого века, которые трудно отделить от анархизма.

Зная политическую деятельность и эволюцию Паскаля Груссе, легко поверить, что никто иной, как он, приложил руку к недоработанной рукописи «Кораблекрушения «Джонатана».

Наследники Жюля Верна тщательно оберегают его архив от посторонних глаз. Ни один исследователь не был туда допущен, и никто не может сказать, в каком виде дошли его рукописи и чем они отличаются от опубликованных текстов. На этот счет можно строить только предположения.

Какие тайны скрывает архив автора «Необыкновенных путешествий» и когда они будут раскрыты?

Есть еще один архив — Этцеля, в отличие от первого, поступивший на государственное хранение. Внучка издателя г-жа Бонье де ля Шпель несколько лет назад передала богатейшее собрание манускриптов в Национальную библиотеку Франции.

С Этцелем сотрудничали и состояли в дружеской переписке крупнейшие деятели литературы, науки и искусства. Ничтожная часть материалов, изданных до передачи архива, содержит письма Бальзака, Гюго, Ламартина, Мюссе, Жорж Занд, Мериме, Тургенева, Жюль Верна, Марко Вовчка и других писателей, вдруг заговоривших живым голосом со страниц поразительно интересной книги — «История одного издателя и его авторов. П. Ж. Этцель (Сталь)»\*.

Но это лишь капля в море. Издательская фирма существовала много десятилетий. Этцель был человеком прогрессивных взглядов и очень общительным. С ним переписывались, к нему обращались за советами даже люди, не входившие в число его постоянных сотрудников.

До марта 1886 года, пока был жив Этцель, Жюль Верн делился с ним всеми своими планами, обсуждал каждый замысел и все стадии работы над очередным романом. Нередко разгорались споры и возникали новые решения. Несколько десятков опубликованных писем приводят к выводу, что Этцель был не просто другом и советчиком Жюль Верна, но, бесспорно, оказывал на него благотворное влияние. Когда Этцеля не стало, писатель до конца жизни продолжал поддерживать уже не дружески-доверительные, а чисто деловые отношения с наследником издательской фирмы Жюлем Этцелем-младшим.

В архиве с большой полнотой сохранились письма Жюль Верна. Только после того, как станут доступными ответные письма издателя, творческая история «Необыкновенных путешествий», по крайней мере до 1886 года, будет восстановлена во всех подробностях.

Но уже сейчас появляются первые сообщения, содержащие много неожиданностей.

Преподавательница филологического факультета в Гренобле С. Вьерн, собирая материалы для диссертации, прочла около 800 писем Жюль Верна к Этцелю и поместила в «Бре-

---

\* A. Parmèntie et C. Bonnier de la Chapelle. Histoire d'un éditeur et de ses auteurs. P. J. Hetzel (Stahl). P., 1953.

тонских анналах» \* большую статью, краткое содержание которой приводится в четвертом выпуске «Бюллетеня Жюль-верновского общества» за 1967 год \*\*.

Исследовательница, опираясь на сведения, извлеченные из писем, утверждает, что Паскаль Груссе сыграл в творческой жизни Жюль Верна несравненно большую роль, чем думали до сих пор. Выяснилось, что Груссе еще в самом начале своей литературной карьеры, когда он только собирался писать для юношества, предложил Этцелю рукопись романа «Наследство Лангеволя». Интересный по замыслу роман был написан довольно неумело. И все же Этцель приобрел эту рукопись с условием, что Груссе откажется от авторства: книга будет переработана другим лицом, может быть, самим Жюлем Верном, который сделает ее приемлемой. По настоянию Этцеля Жюль Верн взялся за переработку, даже не подозревая, кто был автором рукописи. Роман под названием «Пятьсот миллионов бегумы» вышел в свет в 1879 году, когда Груссе жил еще в Англии. В деловые отношения с Этцелем он мог вступить только с помощью посредника. Имя посредника, некоего аббата де Мена, в письмах упоминается.

Идейная и социальная направленность этого замечательного произведения характеризует авторов как приверженцев утопического социализма и ненавистников прусских милитаристов, отторгших от Франции ее цветущие провинции — Эльзас и Лотарингию. В образе фабриканта пушек Шульце (имелся в виду Крупп) с поразительной прозорливостью уловлены черты будущих мракобесов фашистского толка с их изуверской расистской идеологией. Критики всегда восхищались зрелостью мысли и политической концепционностью «Пятьсот миллионов бегумы», романа, соединяющего научную фантастику с высокими гражданскими чувствами. И хотя Жюль Верн обличал прусскую военщину до конца жизни и влияние утопического социализма заметно также в других романах, начиная с «Детей капитана Гранта» и «Таинственного острова», обе эти линии — негативная и позитивная — нигде у него больше не получили такого законченного и такого глубокого выражения.

Теперь доказано, что именно Паскалю Груссе, опытному

---

\* S. Vierre. L'authenticité de quelques oeuvres de Jules Verne. «Annales de Bretagne», № 3, septembre, 1966.

\*\* Bulletin de la Société Jules Verne. Nouvelle serie. 1967, № 4.

политику, коммунару-социалисту, принадлежит разработка идейной основы и сюжетных коллизий этого пророческого романа. Жюль Верн же в процессе переработки придал ему художественное совершенство: внес свою блестящую технику и, как он сам писал Этцелю, «довел ситуации до развязки».

Первоначальная рукопись помогла бы сделать решающие выводы о роли Паскаля Груссе. Но и то немногое, что мы уже знаем, безмерно повышает его значение в истории французской литературы. Ведь самое меньшее — Груссе принадлежит замысел, поднятый Жюлем Верном на высоту его творческих достижений.

Но это не все! Та же исследовательница утверждает, оперируя цитатами из писем, что несколькими годами позже Груссе продал Этцелю еще одну рукопись, превратившуюся под пером Жюля Верна в «Южную звезду» (1884) — роман далеко не из лучших и никак не украшающий серию. В отличие от первого сюжета, привлекающего своей идейностью, этот сюжет всего лишь развлекательный, с заходами в научную фантастику (получение искусственных алмазов).

В какой мере убедительны приведенные факты? Мне кажется, они достоверны. Именно в эти годы Жюль Верн жаловался на усталость, признаваясь, что ему все труднее и труднее придумывать оригинальные сюжеты. Между тем фабрика романов, именуемая «Жюль Верн», должна была работать бесперебойно. Читатели Франции и других стран привыкли ежегодно получать один или два новых тома «Необыкновенных путешествий». Этцель, желая облегчить Жюлю Верну его изнурительный труд и обеспечить какой-то запас времени, конечно, мог иногда привлекать сотрудников для разработки отдельных сюжетов и даже черновых вариантов. И это несколько не умаляет творческого гения Жюля Верна. Все 65 романов, вместе взятые, не считая коротких повестей и рассказов, драматических произведений и научно-популярной географической серии «История великих путешествий», составляют целую библиотеку. Это был поистине титанический труд! Приходится только удивляться, как физически мог его выполнить один человек без всякой помощи.

Теперь мы знаем, что Жюлю Верну иногда помогали литераторы из окружения Этцеля. В точности установлено, что одним из них был Паскаль Груссе. Не исключено, что дальнейшие исследования раскроют еще какие-нибудь тайны «Необыкновенных путешествий», этой величайшей географической эпопеи XIX века.

Соавторство Андре Лори зафиксировано самим Жюлем Верном в одном-единственном произведении — «Найденные с погибшей «Цинтии» (1885). По счету это двадцать восьмое «Необыкновенное путешествие». За оставшиеся двадцать лет предстояло написать еще тридцать семь романов. Легко догадаться, что наибольшая доля участия в работе над этой книгой принадлежит Андре Лори, а Жюлю Верну — лишь общая редактура и развитие сюжетных линий, связанных с географическими открытиями. Это предположение подкрепляет внимательное чтение «Найденных». Трудно сказать, как было на самом деле, и еще труднее объяснить появление в многотомной серии Жюль Верна романа за двумя подписями.

Хочется высказать о его происхождении гипотезу, как и всякая гипотеза, более или менее вероятную. Пусть это будет диалог.

В 1884 году Паскаль Груссе встретился у издателя с Жюлем Верном и рассказал о своем новом замысле.

— Героем будет приемыш, выросший в семье норвежского рыбака. Мальчик обладает удивительными способностями. Он разительно отличается своей внешностью от сверстников. Он француз, но принимают его за ирландца, и это будет служить поводом для всяческих недоразумений. Загадочное происхождение ребенка и неудачные попытки раскрыть эту тайну создают напряженную интригу. Мальчик вырастает, получает хорошее образование в Стокгольме. Кстати, здесь можно будет рассказать о норвежских и шведских школах... Затем, добыв самые ничтожные сведения, которые дают путеводную нить, юноша отправляется на поиски своей семьи...

— Ну, а каким образом он ее найдет? — спросил Жюль Верн.

— Для этого он должен преодолеть массу препятствий, побывать в дальних странах, допустим, в Центральной Африке.

— В таком сюжете самое важное — убедительное обоснование приключений, — сказал Жюль Верн. — Я бы на вашем месте заставил его проделать какое-нибудь совершенно исключительное путешествие, совершить по ходу действия важное географическое открытие. Ведь романы о подкидышах и найденных насчитываются десятками. В каждом таком романе герой находит своих родителей, которые чаще всего оказываются богатыми аристократами. Это стало уже общим ме-

стом. Вы должны хорошенько продумать сюжет, чтобы избежать навязчивых повторений...

— Да, конечно, месье Верн... А не сделать ли моего героя моряком? Тогда его легче будет отправить в путешествие. В силу необходимости он может стать капитаном и проявить поразительное мужество...

— Нечто подобное у меня уже было в «Пятнадцатилетнем капитане». Но это неважно. Легче найти какой-нибудь новый сюжетный ход... Если вы помните, в «Пятнадцатилетнем капитане» Дик Сэнд попадает со своими спутниками в Экваториальную Африку и путешествует по следам Ливингстона... И вы могли бы заставить вашего героя вдохновиться подвигом знаменитого исследователя... ну, скажем, Норденшельда... да, именно Норденшельда, ведь ваш герой получает образование в Швеции...

— Вы подали мне блестящую мысль, месье Верн, я вам очень признателен... Но, сказать по совести, описание географических исследований, особенно в арктических широтах, немало бы меня затруднило. Это требует специальных знаний и особой подготовки... А не согласились ли бы вы, месье Верн, помочь мне осуществить этот замысел?.. Я сделал бы все возможное, чтобы не отнять у вас много времени...

— Не знаю, как у меня сложатся дела. Пока что я ни о чем думать не могу, кроме «Матнаса Сандорфа». Этот огромный роман поглощает меня целиком. Во всяком случае, я посмотрю вашу рукопись, а дальше видно будет...

И вот перед нами произведение двух авторов.

История Эрика Герсебома, рассуждения о его «кельтской внешности», описание обстановки, в которой он вырос и воспитывался, интриги злодея, похитившего его у родителей, огромное состояние, обладателем которого он становится в последней главе,— все это близко по духу приключенческим романам Андре Лори и повторяется в той или иной связи в разных его книгах.

Самая значительная и интересная часть повествования — плавание «Аляски» по следам Норденшельда и географический подвиг, совершенный Эриком, проделавшим в одну навигацию кругосветный рейс в полярных водах России и Америки,— разработана, по-видимому, Жюлем Верном или при его ближайшем участии.

Чтобы оценить смелость замысла, надо знать, что же было в действительности.

На протяжении нескольких столетий мореплаватели без-

успешно пытались найти кратчайший путь из Атлантического в Тихий океан. Обычные маршруты — мимо мыса Доброй Надежды или в обход мыса Горн — сильно затрудняли торговые связи с восточными странами, делая морские путешествия длительными и опасными.

Первый, кому удалось пройти Северным морским путем, был знаменитый шведский географ и исследователь Арктики Адольф Эрик Норденшельд. Он вышел из Гетеборга 21 июля 1878 года на хорошо оснащенном китобойном судне «Вега», 19 августа достиг мыса Челюскина, самой северной оконечности Азии, и таким образом успешно решил первую часть задачи: до этих мест не добирался из Атлантики ни один корабль. Дальше «Вега» прошла к Новосибирским островам, потом достигла Колючинской губы и вынуждена была остановиться на зимовку у мыса Сердце-Камень, в каких-нибудь двухстах километрах от Берингова пролива, то есть у самой цели путешествия.

Недалеке от места стоянки «Веги» находились чукотские стойбища. С чукчами поддерживались самые дружеские отношения. Норденшельд не устал восхищаться их исключительной честностью, прямотою, отзывчивостью. Один из чукчей — оленевод Василий Менка взялся доставить письма с «Веги» иркутскому губернатору, который в свою очередь должен был переслать их в Стокгольм. Письма прибыли в Иркутск только 10 мая 1879 года, а тем временем в Швеции снаряжалась спасательная экспедиция.

18 июля «Вега» наконец освободилась из ледового плена и уже 20-го вошла в Берингов пролив. В начале сентября Норденшельд прибыл в Японию, завершив свое великое предприятие.

Как известно, практическое освоение Северного морского пути началось только при Советской власти. Современная навигационная техника сделала его не только постоянно действующим, но и рентабельным. За несколько десятилетий вдоль трассы выросли портовые города.

Что касается Северо-Западного пути — из Тихого океана в Атлантический, то он был пройден значительно раньше (в 1850—1853 годах) английским полярным исследователем Мак Клором. Однако большую часть пути Мак Клор проделал по льду на саниах. Только Амундсену в 1903—1906 годах удалось преодолеть Северо-Западный проход на корабле. Но практического значения этот маршрут не имеет, так как проливы почти всегда забиты тяжелыми льдами.

В романе «Найденый с погибшей «Цинтии» правда переплетается с вымыслом, фантазия — с реальными фактами.

Эрик неожиданно узнает, что человек, который мог бы сообщить сведения о его семье, находится среди экипажа «Веги», пропавшей без вести где-то в арктических морях. Юноша попадает на борт «Аляски», отправленной на поиски Норденшельда, и в критический момент заменяет погибшего капитана.

Великолепное оснащение «Аляски» превосходило возможности полярной навигации того времени. Здесь продумана каждая деталь: стальной таран, электрический прожектор, запасы мощной взрывчатки для предотвращения ледяных затонувших, топки, приспособленные для моржового и тюленьего жира взамен угля, и т. д.

Но самое удивительное — маршрут «Аляски». Покинув Стокгольм, она пересекла Атлантический океан, вошла в Баффинов залив, оставила позади проливы американской Арктики и неподалеку от входа в Берингов пролив встретила зимовщиков с «Веги». Так был пройден Северо-Западный морской путь.

Из Берингова пролива «Аляска» вошла в Восточно-Сибирское море, взяла курс на запад — вдоль берегов Сибири, обогнула мыс Челюскина и вернулась в Стокгольм, повторив в обратном направлении маршрут Норденшельда. Так был пройден Северо-Восточный морской путь.

Авторы заставили своего героя выполнить фантастически трудное дело. Первое в мире кругосветное плавание в полярных водах было совершено двадцатидвухлетним капитаном за семь месяцев и четыре дня.

История экспедиции Норденшельда естественно вплетается в сюжет. И хотя сам он не выведен в качестве действующего лица, но является по сути дела одним из героев. Образ шведского ученого незримо присутствует на страницах книги и вдохновляет Эрика.

Из книги Норденшельда «Плавание на «Веге» авторы почерпнули много интересных сведений о природе русской Арктики и все необходимые для романа фактические данные о зимовке у мыса Сердце-Камень. В романе много говорится о перспективах освоения Северного морского пути, который позволит установить регулярное морское сообщение с Сибирью. Этот прогноз оказался безошибочным. Приводятся и трогательные подробности о гостеприимстве и радушии чукчей, о которых на Западе почти ничего не было известно.

«Найденый с погибшей «Цинтии» — один из немногих романов в серии «Необыкновенных путешествий», где действие частично происходит на территории России. Поскольку авторы пользовались надежным источником, в описаниях природы и обитателей русской Арктики не допущено никаких грубых ошибок. Привлекает исключительно доброжелательное отношение Жюль Верна и Андре Лори к народам Крайнего Севера, восхищение природными богатствами Сибири и правильное понимание ее великого будущего.

Несмотря на небольшой объем, «Найденый с погибшей «Цинтии» — роман очень содержательный. Он является одновременно и нравоописательным (жизнь Эрика в рыбацком поселке Нороз и в Стокгольме), и приключенческо-географическим (поиски семьи Эрика и плавание «Аляски»), и научно-фантастическим, что особенно интересно.

В серии Жюль Верна есть несколько романов, основанных на воображаемых географических открытиях («Пять недель на воздушном шаре», «Путешествие и приключения капитана Гаттераса», «Ледяной сфинкс» и др.). К романам, связанным с географической научной фантастикой, относится и «Найденый с погибшей «Цинтии».

Это произведение пользовалось большим успехом и немало способствовало популярности Андре Лори, тогда еще начинающего беллетриста. Возможно, в его совместном выступлении с Жюлем Верном был заинтересован Этцель, желавший привлечь внимание к своему новому автору, на которого он возлагал надежды. Как бы то ни было, из всех романов, подписанных именем Андре Лори, «Найденый с погибшей «Цинтии», несомненно, — лучший. И вместе с тем, по оригинальности замысла и литературным достоинствам он — далеко не последний в серии «Необыкновенных путешествий».

Паскаль Груссе, как один из организаторов Парижской Коммуны и политический публицист, вошел в историю; как писатель Андре Лори, он давно и прочно забыт. До сих пор переиздается только роман, выпущенный им совместно с Жюлем Верном. Недавно установленные факты неоднократного сотрудничества Груссе-Лори с великим фантастом долгие годы оставались издательской тайной. Но если бы не существовало Паскаля Груссе, а писатель Андре Лори проявил бы себя только как соавтор Жюль Верна, все равно исследователи должны были бы заинтересоваться его более чем странной литературной судьбой.

Писательская деятельность Андре Лори проходила под

флагом Жюль Верна и сплеталась невидимыми нитями с его могучим творчеством. «500 миллионов бегумы» и «Южная Звезда», «Найденый с погибшей «Цинтии» и, с большой долей вероятности, «Кораблекрушение «Джонатана» — романы, к созданию которых был причастен Андре Лори, которыми увлекались и продолжают увлекаться поколения молодых читателей.

24 марта 1905 года Жюль Верна не стало. В траурном номере «Журнала воспитания и развлечения» Андре Лори так оценил его творческий подвиг:

«И до него были писатели, начиная от Свифта и кончая Эдгаром По, которые вводили науку в роман, но использовали ее главным образом в сатирических целях. Еще ни один писатель до Жюль Верна не делал из науки основы монументального произведения, посвященного изучению Земли и Вселенной, промышленного прогресса, результатов, достигнутых человеческим знанием, и предстоящих завоеваний. Благодаря исключительному разнообразию подробностей и деталей, гармонии замысла и выполнения его романы составляют единый и целостный ансамбль, и их распространение на всех языках земного шара еще при жизни автора делает его труд еще более удивительным и плодотворным».

Из отзывов современников это самая содержательная и глубокая оценка «Необыкновенных путешествий».

---



---

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |     |
|---|-----|
| <b>Б. В. БИРЮКОВ</b>  |     |
| Союз фантастики и науки .....                                   | 3   |
| <b>СЕВЕР ГАНСОВСКИЙ</b>   |     |
| Винсент Ван Гог .....   | 9   |
| <b>ИЛЬЯ ВАРШАВСКИЙ</b>  |     |
| Повесть без героя .....   | 69  |
| <b>ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ</b>                                     |     |
| Страна Инфория .....  | 99  |
| <b>Ю. ТУПИЦЫН</b>   |     |
| Шутники .....   | 110 |
| <b>РОБЕРТ ЯНГ</b>   |     |
| В сентябре тридцать дней<br>(Перевел с английского Н. Колпаков) | 129 |
| <b>ЕВГ. БРАНДИС</b>   |     |
| Парижский коммунарь—соавтор Жюль Верна                          | 147 |

Составитель Н. Яснопольский  
Альманах научной фантастики. Выпуск 10

Редактор С. Столпняк  
Художник Ю. Селыверстов  
Художественный редактор Т. Добровольцова  
Технический редактор Л. Агрошенко  
Корректор Р. Колокольчикова



А01455. Сдано в набор 11/IX 1970. Подписано к печати 22/I 1971. Формат бумаги 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Бумага типографская № 2. Бум. л. 5,25. Печ. л. 10,5. Условн. печ. л. 9,77. Уч.-изд. л. 9,26. Тираж 100 000 экз. Издательство «Знание», Москва, Центр. Новая пл., д. 3/4. Заказ 3817.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,  
Москва, Краснопролетарская, 16.  
Цена 32 коп.



Цена 32 коп.

**Издательство „Знание“  
Москва 1971**